Гоголь

Николай Васильевич

1809 - 1852

Классики

за 30 минут

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Серия «Классики за 30 минут» позволит Вам в кратчайшее время ознакомиться с классиками русской литературы и прочитать небольшой отрывок из самого представленного произведения.

В доступной форме авторы пересказали наиболее значимые произведения классических авторов, обозначили сюжетную линию, уделили внимание наиболее важным моментам и показали характеры героев так, что вы сами примите решение о дальнейшем прочтении данных произведений, что сэкономит вам время, либо вы погрузитесь полностью в мир данного автора, открыв для себя новые краски в русской классической литературе.

Для широкого круга читателей.

- Гоголь за 30 минут
  - Биографический очерк
  - Ревизор
  - Мертвые души
  - Тарас Бульба
  - Вечера на хуторе близ Диканьки
  - Нос
  - Портрет
  - Шинель
  - Невский проспект
  - Ночь перед Рождеством
  - Майская ночь, или Утопленница
  - Женитьба
  - Ревизор
    - Действующие лица
    - Характеры и костюмы
    - Действие первое
    - Действие второе
    - Действие третье
    - Действие четвертое
    - Действие пятое
  - Портрет
    - Часть I
    - Часть II
  - Тарас Бульба
- notes
  - 1

- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5

Гоголь за 30 минут

Биографический очерк

Великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь (Гоголь-Яновский – при рождении) появился на свет 1 апреля (20 марта по ст. стилю) 1809 года в Великих Сорочинцах Миргородского уезда Полтавской губернии в помещичьей семье. Своим именем он обязан чудотворной иконе святого Николая, которая хранилась в церкви села Диканька. Родители поэта были достаточно зажиточными людьми: владели более чем тысячью десятин земли, которую обрабатывали почти четыреста крепостных. По отцовской линии Николая, предки в нескольких поколениях были служителями духовенства, священниками, но уже его дедушка Афанасий Демьянович решил преломить эту традицию, поступив в гетмановскую канцелярию. Предположительно это ему принадлежала идея о добавлении к изначальной фамилии Яновский еще одной – Гоголь. Поскольку весь род писателя происходил от знаменитого полковника Евстафия Гоголя.

Василий Афанасьевич Яновский-Гоголь был служащим при Малороссийском почтамте, однако в ранге коллежского асессора оставил службу и стал семейным человеком. Его супругой была Мария Ивановна Косяровская, также происходившая из семьи помещиков. А слава о ее красоте выходила далеко за пределы Полтавщины. В соответствии с традициями того времени, на момент замужества ей было всего четырнадцать лет и вскоре помимо Николая в семействе появилось еще пять отпрысков.

Детство будущего классика русской литературы прошло в родительском имении Васильевка, которое также называли Яновщиной. Культурная жизнь была сосредоточена в Кибинцах, имении Трощинского Д.П., бывшего когда-то министром, выбранным в поветовые маршалы и дальнего родственника Гоголей-Яновских. Отцу писателя там была отведена роль секретаря. Кроме того, имение могло похвастать огромной библиотекой, домашним театром и Гоголь-старший даже создавал для него комедии, одновременно являясь актером и дирижером. А находящееся неподалеку село Диканька, полное различных старинных преданий, легенд и поверийпроизвело на писателя столь сильное впечатление, что он пронес его через всю свою жизнь.

На начальном этапе образование Гоголя было домашним, но вскоре он вместе с братом Иваном поступил в Полтавское уездное училище (18118-1819), а после некоторое время жил в квартире полтавского преподавателя Гавриила Сорочинского, дававшего

тому уроки. Затем было поступление в Нежинскую гимназию высших наук (1821), где молодой человек занимался живописью, проявил себя в качестве талантливого художника-декоратора и актера, а комические роли давались ему особенно хорошо. Тогда же он пробовал свои силы и в литературе. В частности, была написано не сохранившееся сатирическое произведение «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан». Помимо этого, упражнялся в элегических стихотворениях, повести, трагедии, исторической поэме. Примечательно, что Нежинская гимназия высших наукбыла создана по модели Царскосельского лицея, где обучались отпрыски местного дворянства. Там обучали игре на скрипке, живописи, лицедейству, однако сам Николай тяготел к государственной службе и, особенно, мечтал о построении юридической карьеры. Несомненное влияние на это оказал профессор Белоусов Н.Г., преподававший естественное право. 1827 год ознаменовался для гимназии, так называемым, «делом о вольнодумстве» в результате чего лишился своих должностей практически весь преподавательский состав, среди которого был и Белоусов. Во время следствия Гоголь давал показания в его пользу, желая помочь.

По окончании Нежинской гимназии в 1828 году поэт, преисполненный радужных надежд отправился в Петербург. Но устроиться на службу не получилось, а его литературные начинания потерпели крах – речь идет об «идиллии в картинках», написанной под псевдонимом В. Алов «Ганц Кюхельгартен», о которой Полевой Н.А отозвался весьма скептически. Опечаленный этим, он ненадолго уехал заграницу, откуда вскоре возвратился и с ноября 1829 года трудился в департаменте государственного хозяйства и публичных знаний Министерства внутренних дел. А с 1830 по 1831 годы служил в департаменте уделов, сначала в качестве писца, а потом – столоначальника. Канцелярский труд сильно разочаровал Гоголя, но снабдил его бесценным опытом, который он применил позже в своем литературном творчестве.

Первая опубликованная повесть Гоголя называлась «Басаврюк», но позже была заменена на «Вечер накануне Ивана Купала» и была напечатана в 1830 году в журнале «Отечественные записки». Сильное влияние на становление общественного сознания и укрепление таланта писателя оказало знакомство, а затем и приятельство с Пушкиным, Крыловым, Вяземским, художником Брюлловым.

Прославился писатель благодаря «Вечерам на хуторе близ Диканьки» (1831-1832 гг.), «Сорочинской ярмарке», «Майской ночи» и пр. Примечателен фантастический рассказ «Нос»,

опередивший некоторые из тенденций XX века. Решение заниматься педагогической деятельностью привело к тому, что в 1834 году он был назначен адъюнкт-профессором кафедры всеобщей истории при Петербургском университете. В это время был создан «Тарас Бульба». Уже в 1835 году Гоголь покинул университет и полностью сосредоточился на литературе. Тогда же появились сборники повестей «Миргород» в который были включены «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий» и др. и сборник «Арабески» о петербургской жизни. Безусловно, венцом всего петербургского периода является повесть «Шинель», которая в 1836 году в черновом варианте была представлена Пушкину, но закончена лишь в 1842 году. Наряду с литературной деятельностью, поэт пробовал свои силы в драматургии. В 1835 году была написана комедия «Ревизор», сюжетная линия которой была подсказана Пушкиным, а уже в 1836 году состоялась ее премьера в Москве при участии Щепкина.

Измученный нападками реакционной печати после постановки «Ревизора», Гоголь отправился заграницу. В июне 1836 года он отбыл в Германию, затем в Швейцарию, Париж, Рим, продолжая начатую еще в России работу над «Мертвыми душами». Именно вдали от Родины его настигло известие о смерти Пушкина, ставшее большой личной трагедией. С этого момента он считал работу над поэмой своего рода завещанием от величайшего учителя, которую следовало непременно довести до конца. Там же, в Риме в 1840-1841 годах был закончен первый том поэмы. Сентябрь 1839 года ознаменовался для Николая Васильевича возвращением в компании приятеля Погодина в Москву. Здесь он в кругу друзей зачитывает главы из готовой поэмы, встреченные очень хорошо. Гоголь переезжает в Петербург и в мае 1842 года при содействии Белинского «Похождения Чичикова, или Мертвые души» были опубликованы. Окрыленного восторженными отзывами друзей, писателя отрезвили критические замечания о работе. В частности звучали обвинения в недостоверности картины, описанной в поэме, в карикатурности. А Н.А. Полевой и вовсе разразился статьей, более походившей на донос. Сам же писатель в это время снова уезжает за границу, где в Риме работает над вторым томом «Мертвых душ». Одновременно на Родине, при содействии приятелей выходят в свет «Сочинения Николая Гоголя» в четырех томах.

На протяжение следующих трех лет жизни в Риме, продолжается работа над вторым томом поэмы, но сильный душевный разлад становится причиной консультаций поэта со всяческими известными докторами и постоянных переездов с

одного курорта на другой. В порыве усиления заболевания Гоголь в конце июня 1845 года уничтожает рукопись второго тома. Снова берется за работу, но дело движется крайне сложно, он постоянно отвлекается на другие, более важные занятия: написание предисловия ко второму изданию поэмы «К читателю от сочинителя», «Развязки Ревизора».

Чувствуя необходимость объяснить столь долгое написание второго тома «Мертвых душ», равно как и предоставления некой компенсации за это, в 1847 году выходят в свет «Выбранные места из переписки с друзьями», где он выражает сомнения в оправданности и действенности преподавательской функции художественных произведений и ратует за неукоснительное соблюдение своего долга всеми без исключения сословиями: от простого мужика до государя. Публикация данного творения вызывает просто шквал критики и неодобрения. Однако расстроенный поэт узнает об этом, будучи снова в пути: переезжает из Неаполя в Париж и потом в Германию.

Еще находясь в Италии, в рамках давно запланированного паломничества к святым местам, усердно прочитывает русскую периодику, все новинки беллетристики, исторические и фольклорные книги. Холодным январем 1848 года Гоголь морским путем отправляется в Иерусалим, после посещения которого насовсем приезжает в Россию. Живет в Москве, иногда навещая Петербург и родные места в Малороссии.

В 1849-1850 Николай Васильевич решается зачитать некоторые из глав второго тома «Мертвых душ» своим приятелям, встретивших их великолепно. Приободренный писатель с особенным рвением принялся за работу. Однако не забывает он и о своей личной жизни: наконец решается сделать предложение Виельгорской А.М., но она отказывает ему.

Октябрь 1850 года застает писателя в Одессе – в прекрасном расположении духа и добром здравии, дружен с актерами одесской труппы, даже преподает им уроки исполнения комических ролей. Затем отправляется в родные места, а оттуда снова возвращается в Москву, где продолжает зачитывать друзьям отдельные главы из второго тома поэмы.

В самом начале января Гоголь дает знать Арнольди о том, что второй том полностью завершен. Но уже конец месяца ознаменован возвращением душевного разлада, сомнений в своем писательском таланте и ценности всей работы. Причиной этого стала неожиданная смерть близкого друга писателя – Е.М. Хомяковой. Поэт сам предчувствует скорую погибель. Седьмого февраля он исповедовался и причастился, а в ночь с одиннадцатого на двенадцатое – уничтожил в огне беловой

вариант второго тома «Мертвых душ». И 4 марта (21 февраля по ст. стилю) утром Николая Васильевича Гоголя не стало. Он умер в своей квартире в доме Талызина в Москве. Проститься с гениальным поэтом пришло огромное количество людей, а погребен он на кладбище Свято-Данилова монастыря, откуда в 1931 году перевезен и перезахоронен на Новодевичьем кладбище.

Ревизор

Под предводительством городничего Антона Антоновича Сквозник-Дмухановского в уездном городе собираются: попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, судья, частный пристав, лекарь и два квартальных в присутствии которых, первый торжественно объявляет, что к ним едет ревизор. Инкогнито и из самого Петербурга. Более того, со специальным предписанием. Чиновники явно расстроены и теряются в догадках о том, зачем им нужен ревизор. А городничий вспоминает сон, виденный накануне о двух огромных черных крысах и что он сразу понял – не к добру это все. Судья Ляпкин-Тяпкин выдвигает версию о готовящейся войне, поэтому ревизоры и выискивают возможную измену.

Как бы там ни было, принимается решение как следует подготовиться к визиту ревизора. Поэтому Антон Антонович раздает поручения: Артемий Филиппович Земляника как попечитель богоугодных заведений должен привести их в надлежащий вид, ведь ревизор наверняка захочет с них начать свой осмотр города. Ему было сказано надеть на пациентов чистые колпаки, разместить над кроватями надписи на латыни или хоть на каком языке, значительно уменьшить крепость табака, который курят больные, а главное – постараться по возможности и вовсе сократить их количество. Судье Аммосу Федоровичу было предложено обратить особенное внимание на некоторые присутственные места, где прямо в приемной, куда приходят просители, сторожа развели гусей с маленькими гусятами. Также следовало избавиться от всякой высушивающейся дряни и снять со стены охотничий арапник. А заседателя накормить медикаментами, чтобы перебить запах, от него исходящий. На что судья парирует замечанием, что этого заседателя мамка ушибла в детстве и теперь от него постоянно разит водкой. Гусят же решено сейчас же отправить на кухню. И прекратить взяточничество борзыми щенками.

Далее городничий обратился к Луке Лукичу – смотрителю учебных заведений с требованием проследить за учителями. Дескать, они, конечно, учились во всяких коллегиях, но не стоит едва взойдя на кафедру сразу корчить рожу, постоянно утюжа рукой бороду, равно как и учителю истории не пристало во время объяснения урока настолько входить в раж, чтобы сбегать с кафедры и ломать стулья об пол. Нет, оно, конечно, Македонский молодец, но, чтобы мебель крушить…и казне убытки.

Появившемуся почтмейстеру Ивану Кузьмичу Шпекину

разъясняют, что едет важный чиновник из Петербурга и первый сразу заподозрил начало войны, что встретило живейший отклик со стороны судьи – он тоже так думает. Антон Антонович, подозревая донос на себя и именно по этому поводу визит ревизора, отводит Шпекина в сторонку и просит втихаря почитывать всю приходящую корреспонденцию, на что тот отвечает, что давным-давно этим развлекает себя. Пришедшие помещики Добчинский и Бобчинский сообщают, что в гостиничном трактире завелся какой-то странный посетитель: внимательно всех рассматривает, даже тарелки проверяет, не платит за гостиницу и не съезжает, а зовут его Иван Александрович Хлестаков – вот он и есть то самое таинственное инкогнито, ревизор он и есть, не иначе. То обстоятельство, что он уже две недели в городе, повергает городничего в шок и он велит немедленно позвать к себе частного, который ему докладывает о том, что квартальный Пуговицын с десятком других отправлены подчищать тротуары, Держиморда поехал на пожарной трубе. Городничий напоминает частному, что следует говорить о церкви при богоугодном заведении – якобы начали строить ее, но она сгорела. И торопясь уезжает с Добчинским к Хлестакову, а Бобчинский резво нагоняет дрожки сзади.

В этот момент запыхавшись прибегают Анна Андреевна и Марья Антоновна – супруга и дочь Антона Антоновича. Они не успели еще ничего узнать толком о таинственном чиновнике, а главное, генерал ли он? И носит ли он усы? А какие? По этой причине первая раздражена и злится на дочь, которая долго копалась перед зеркалом. Будучи не в силах подождать два часа, мать засылает Авдотью вслед за дрожками все хорошенько разузнать и сразу прибежать обратно с рассказом.

В маленькой гостиничной комнате на барской постели валяется слуга Осип и ругает Хлестакова за расточительство, любовь к картам и отъезд из Петербурга. Слышит шаги и поспешно вскакивает с кровати. Входит барин и пытается отправить слугу вниз за обедом, но тот отказывается по причине того, что хозяин гостиницы и так уже сердит за то, что ему денег на платят и еды больше не даст. Трусоватый Хлестаков страшится разговаривать с последним самостоятельно, но есть хочется так сильно, что выбора уже нет. Является слуга хозяина, которого удается уговорить побеседовать с хозяином насчет обеда. Через некоторое время Ивану Александровичу подают обед, но им явно недоволен: и мало, и не вкусно, и котлет или семги нету, ведет себя очень нахально. Приезд городничего изрядно пугает Ивана Александровича, он переживает, чтобы его не забрали в тюрьму. Однако его сердечно приветствуют, расспрашивают о делах и

предлагают переехать на другую квартиру, что Хлестаков немедленно понимает как «в тюрьму». Он сопротивляется и кричит. Антон Антонович сам уже напуган крутым нравом ревизора, предлагает ему деньги и переезд в свой дом. На что Хлестаков соглашается. Дабы уведомить супругу, городничий пишет две записки: ей и Земляника и поручает Добчинскому их отнести. А он едет с Иваном Александровичем.

Тем временем, Анна Андреевна очень ждет новостей и записка, принесенная Добчинским как раз кстати. Из нее она узнает, что следует приготовить комнату важному чиновнику, раздобыть вина у купца Абдулина. Параллельно Добчинский рассказывает о крутом нраве чиновника, но об его отходчивости. Между матерью и дочерью разгорается перебранка по поводу того, кто какое платье наденет. Приезжают Антон Антонович, Хлестаков, Земляника, Хлопов, Добчинский и Бобчинский. После вкусного обеда в больнице, разговор стараются вести о несомненных достижениях Артемия Филипповича, дескать, и порядок он там сделал, и больные сразу стали выздоравливать как мухи. Сытый Хлестаков почти не слушает их и интересуется тем, можно ли где-нибудь поиграть в карты. Но городничий не дремлет, он понимает, что это ловушка, поэтому не моргнув глазом сообщает, что карты вообще – зло. С приходом дам, Иван Александрович и вовсе распоясался, он поведал о том, что дружен с Пушкиным, а в Петербурге его как-то посчитали главнокомандующим, и для того, чтобы уговорить его стать управляющим департамента, к нему отправляли тридцать пять тысяч курьеров. Напомнил он также и о том, что невероятно строг, поэтому его наверняка скоро попросят стать фельдмаршалом. Улучив момент, когда ревизор отправился спать, городничий с семейством начали расспрашивать Осипа о хозяине, но он не ответил прямо ни на один вопрос, поэтому все решили, что он точно важный чиновник.

Антона Антоновича напугали слова чиновника о том, что он скоро станет фельдмаршалом, поэтому он собирает снова чиновников, чтобы принять решение, что делать. Подмечено, что Хлестаков с удовольствием берет деньги, поэтому собрались дать ему взятку и поручили это сделать Ляпкину-Тяпкину, но он роняет деньги прямо перед ревизором. Ко всеобщему удивлению, никто не арестован, более того, Хлестаков подбирает деньги, прося одолжить их, потом также берет деньги в долг у почтмейстера и смотрителя училищ. А Земляника решается пожаловаться ему на всех и даже готов это сделать в письменной форме. Добчинский просит за своего внебрачного сына, чтобы его признали законным, а Бобчинскому хочется просто славы,

поэтому он просто рассказать всем в Петербурге, включая государя, что есть такой человек на свете.

Избавившись от чиновничьего люда, Хлестаков принимается за письмо своему другу в Петербург с развеселой историей о том, что его по ошибке приняли за важного ревизора. Смутные предчувствия терзают Осипа и он настаивает, что им пора уезжать, поэтому Иван Александрович отправляет его с написанным письмом и поискать лошадей. В это время Держиморда честно пытается не пустить купцов к важному чиновнику из Петербурга, но последний их милостиво принимает, а вернувшийся чуть позже Осип помогает выгнать. Неожиданное появление Марьи Антоновны заставляет Хлестакова признаться ей в любви, поцеловать и пасть на колени. Но зашедшая Анна Андреевна выставляет дочь вон, а Иван Александрович снова падает на колени, но уже перед матерью, предлагая ей замужество. Растерянная Анна Андреевна не знает, что ответить, она вроде как немножко замужем. И в это время снова забегает Марья Антоновна, получает взбучку от матери, не успевший подняться с колен Хлестаков, предлагает замужество теперь ей. Визит обеспокоенного жалобами купцов городничего, вносит еще большую сумятицу, он не сразу понимает слова жены о сватовстве, но растерянно благословляет молодых. Наконец, Осип говорит, что лошади готовы и Иван Александрович под предлогом визита к богатому дядюшке на один день, снова берет деньги в долг и уезжает.

Довольные собой Анна Андреевна и Антон Антонович мечтают о том, как славно заживут в Петербурге. Городничий простил купцов, нагнав на них страху и совершенно успокоился. Как вдруг забегает почтмейстер с сообщением о том, что ревизор был липовый и показывает всем фривольное письмо Хлестакова к другу Тряпичкину. Всеобщий гнев обрушивается на Добчинского и Бобчинского, которые всех ввели в заблуждение, даже, обманули.

Наконец, появляется жандарм с известием о том, что чиновник, прибывший из Петербурга требует их всех сейчас же к себе. Приехал настоящий ревизор. Повисает долгая немая сцена.

Мертвые души

В воротах гостиницы губернского города NN показывается небольшая красивая рессорная бричка в которой сидит господин не красивой, но и не дурной наружности, ни толст, ни тонок, не молод, но и не стар. Его встретил трактирный слуга и повел показывать отведенный тому покой. Комната была известного рода, какие обычно бывают при гостиницах в губернских городах и ничего особенного из себя не представляла. За два рубля в сутки любой приезжающий получал спокойную комнату с тараканами, выглядывающими из стен, как чернослив, и дверью в соседнее помещение, которая всегда была заставлена комодом. В покой было внесено имущество господина, состоявшее из поношенного чемодана белой кожи, небольшого ларчика красного дерева с штучными выкладками, сапожных колодок и жареной курицы в синей бумаге.

Пока слуги занимались его пожитками, сам господин отправился в общую залу, скинул картуз, размотал с шеи цветастую косынку и велел подать себе обед. И за едой расспросил слугу о том, кому раньше принадлежал трактир, и кто сейчас тут хозяин, и много ли доходу он приносит. Помимо скучных вопросов, расспросил приезжий и о том, кто в городе служит губернатором, кто прокурором, кто председателем палаты, но особенно подробно обо всех крупных помещиках: где живут, сколько душ крепостных имеют, часто ли приезжают в город и прочее. Интересуется также не было ли в городе каких болезней, лихорадок, оспы. И делает это так тщательно и обстоятельно, что не возникает сомнения в том, что это не просто праздное любопытство. После обеда господин выкушал чашку кофию, отдохнул и поспал два часа. Имя и ранг же ему – Павел Иванович Чичиков, коллежский советник. Прогулка по городу его вполне удовлетворила, он содрал афишу о постановке драмы, изучил ее и сложил в свой ларчик. Поужинал холодной телятиной с кислыми щами и лег спать.

На следующий день Чичиков навестил с визитами всех городских чиновников, умело польстив каждому из них и в результате оказался приглашенным на домашнюю вечеринку к губернатору, и на другие мероприятия с различными чиновниками. О себе он рассказал очень мало, высокопарным слогом и, по сути, ничего конкретного, но все время был чрезвычайно вежлив и учтив, чем очаровал все высшее общество губернского города. На губернаторской вечеринке господин знакомится с помещиками Маниловым и Собакевичем, которые

приглашают того к себе в гости и он с радостью соглашается. Во время обеда с полицмейстером знакомится с помещиком Ноздревым. Спустя неделю жизни в городе, Чичиков отправляется в поместье Манилова. Приехав туда замечает, что хозяйский дом стоит одиночкой, на небольшом возвышении и открытый всем ветрам, на покатости горы расположилось несколько клумб, но в общем все создавало ощущение ненадежности, хлипкости, ни то ни сё. Так же можно охарактеризовать и самого Манилова.

После обеда с супругой помещика и его сыновьями Фемистоклюсом и Алкидом, Чичиков в кабинете хозяина объясняет цель своего визита: он хотел бы купить умерших крестьян, но о чьей смерти еще нет записи в ревизской справке и сделать все по закону, как-будто покупает живых крепостных. Манилов находится в легком недоумении от странной просьбы, но на предложение соглашается, они заключают сделку и Чичиков вскоре едет к Собакевичу. А первый размышляет о том, как было бы замечательно, если бы Павел Иванович жил рядышком по соседству, как приятно было бы вести с ним беседы, а познав об их дружбе, государь наверняка дал бы им обоим чины генералов.

По пути к Собакевичу случается неприятность: кучер Селифан слишком много внимания уделяет коням, говорит с ними и совершенно не следит за дорогой, что приводит к тому, что они проезжают нужный поворот, но хуже того только то, что начался сильный ливень и Чичиков падает в грязь. В потемках они находят дом Настасьи Петровны Коробочки, к которой просятся на ночлег. Сама она представляет из себя весьма бережливую старушку, которые вечно жалуются на неурожай и прочие бедствия, но потихоньку сберегают денежки в пестрядевых мешочках. Она боязлива и когда Чичиков предлагает ей купить у нее мертвых крестьян, то долго сомневается. Решается на это только после слов о том, что подати на них теперь он сам будет платить. Удивляется его странной просьбе и пытается продать заодно и пеньки, и свиное сало. Павел Иванович вежливо отказывается. Наконец, она продает ему мертвые души по пятнадцать рублей за штуку и прилагает их подробный список. Наскоро перекусив пресным пирогом с яйцом, блинками, пирожками и прочим, Чичиков уезжает к следующему помещику, а Коробочка горестно рассуждает о том, что, наверное, надо было просить больше денег.

На столбовой дороге коллежский советник решает заехать в трактир, чтобы поесть и там знакомится с помещиком Ноздревым, который возвращается с ярмарки в бричке зятя Мижуева, поскольку свою проиграл. Следует красочное описание прелестей

ярмарки, описание способностей пить драгунских офицеров, демонстрация щенка, который обещал вырасти в замечательную собаку и приглашение ехать в гости к Ноздреву. Зятя тоже уговорили ехать с ними, хотя он был и не восторге от этой идеи. Этот помещик представлен как историческая личность, представляющая собой как бы совокупность типичной личности русского мужика, какую можно всегда встретить в любом трактире по всей России. Они пьяницы, игроманы, живут не по средствам и часто в долг. Чичикову неприятен этот тип, но он движим делом. Но Ноздрев наотрез отказывается продать мертвые души, предлагая их выиграть в карты, выменять, взять в придачу к жеребцу, но только не продать. Они ссорятся и расходятся в разные комнаты спать. Утром Чичиков снова пытается договориться с Ноздревым по своему делу, но тот по-прежнему упирается. Дело заканчивается практически дракой и не допускает этого лишь неожиданный, но очень своевременный визит капитана-исправника, сообщающего, что Ноздрев находится под судом. Чичиков сбегает.

В дороге случается очередное происшествие: экипаж Чичикова сталкивается с другим экипажем и пока случайные свидетели этого, распутывают сбившихся коней, Павел Иванович замечает хорошенькую шестнадцатилетнюю барышню, всколыхнувшую в нем мечты о семейной жизни.

Наконец, он приезжает к помещику Собакевичу. В его доме все очень основательно, крепко держится на своих местах, громоздкая мебель, как, впрочем, и хозяин – здоровый, сильный детина. После обильного обеда Чичиков излагает ему суть своего визита, на что тот практически сразу соглашается, рассказывает подробно обо всех мужиках, которых продает, вручает подробный список этих мертвых душ и просит о задатке.

Далее Чичиков приезжает к помещику Плюшкину – человеку неопределенной наружности: толи женщина, толи мужчина, его дом более напоминает склад, где прямо на полу навалены кучи всякого барахла и который являет собой действительную прореху на теле человечества. Он соглашается продать свои мертвые души, особенно, когда Павел Иванович сказал, что отныне сам будет платить все подати. Вежливо отклоняет предложение выпить чаю с сухарем, получает письмо к председателю палаты и довольный собой возвращается в гостиницу, где немедленно заваливается спать.

Утро застает Чичикова за сочинением купчих крепостей, внимательным изучением списков купленных мертвых мужиков, фантазиями на тему их предполагаемой жизни, вымышленными диалогами с ними. Затем идет в гражданскую палату, чтобы

закрепить это дело. Случайно встречает помещика Манилова, который вызывается его сопровождать. Но попасть к председателю не так просто и для этого приходится дать взятку кувшинному рылу, когда, наконец, он до него доходит, то обнаруживает там и Собакевича. Председатель готов стать поверенным Плюшкина и сильно помогает ускорить заключение всех остальных сделок. Уточняет куплены ли мужики вместе с землей или на вывод. Чичиков говорит, что на вывод в Херсонскую губернию. Они еще некоторое время обсуждают купленных крестьян, затем пьют шампанское за сделку и идут к полицмейстеру, где снова пьют за здравие новоиспеченного херсонского помещика. Предлагают Чичикову остаться насовсем в городе и даже подумывают его женить.

Между тем, по городу разлетается слух о том, Чичиков невероятно богат и с ним сразу все хотят дружить, а дамы от него без ума. Перед балом у губернатора, он даже получает любовную записку, правда, не подписанную. Как обычно, приведя свой туалет в полный порядок, он едет на бал, где исполняет роль дамского угодника. И все бы ничего, но он видит губернаторшу с дочерью – той самой девицей, с экипажем которой он ранее столкнулся. Она хороша невероятно и все внимание Чичикова сосредоточено только на этой молоденькой блондинке, что обижает остальных дам. Горше этого только неожиданное появление пьяного Ноздрева, который громогласно выпытывает о том, много ли мертвых душ удалось приобрести. Все растерянно смотрят на Чичикова, но потом понемногу отвлекаются на другие дела, но сам Павел Иванович уязвлен, ему не удается игра в вист и ужин не может его утешить, поэтому он опечаленный едет восвояси.

Тем временем, Коробочка, которая никак не может успокоиться по поводу того, что продешевила с продажей мертвых душ, приезжает в город с целью ответить на этот вопрос. Об этом узнает одна приятная дама, немедленно делится с другой и в их воображении появляется страшная картина того, что Чичиков среди ночи врывается в дома помещиков, требуя продать ему мертвые души, сеет смуту и страх. Звучит мнение о том, что вся эта история с мертвыми душами лишь предлог для того, чтобы выкрасть губернаторскую дочку. Еще немного поболтав они бегут к прокурору, а от него по всем своим знакомым.

В короткий срок город стал более напоминать растревоженное осиное гнездо. К этому добавилась новость о том, что к ним едет новый генерал-губернатор, завелся некий делатель фальшивых ассигнаций и недавно от наказания сбежал

преступник. И тут все понимают, что ничего толком не знают о Чичикове. Мысль почтмейстера о капитане Копейкине отвергают, зато находят определенное сходство с Наполеоном. Опрос остальных чиновников, имевших с ним дело, никаких новостей не приносит. Только Ноздрев продолжает настаивать, что Чичиков несомненный разбойник, фальшивомонетчик и наверняка собирается украсть дочь губернатора. От переживаний за события, творящиеся в городе, с прокурором случается удар и он умирает.

Виновник переполоха в это время сидит в гостинице с легкой простудой и решительно не понимает почему никто из помещиков его не навещает. Отважившись на самостоятельный визит, он с ужасом видит, что у губернатора его почему-то не принимают, а остальные испуганно шарахаются от него в сторону. Обстоятельства несколько проясняет Ноздрев, который пришел в гостиницу навестить Павла Ивановича и, заодно, сообщает, что готов помочь выкрасть губернаторскую дочку. Чичиков расстроен и обескуражен. Решает на следующий же день покинуть город. Когда он уезжает, то по дороге встречает похоронную процессию прокурора и вновь видит всех чиновников. Наконец, бричка выезжает за город.

Далее автор рассказывает о жизни Чичикова, его детстве, обучении в классах, характере, службе, но главное объясняет, что в бытность последнего поверенным, во время хлопот о залоге крестьян, придумал план, согласно которому следовало поездить по всей России, скупая как можно больше мертвых душ, для того, чтобы потом их можно было заложить в казну под видом живых. Получить хорошие деньги, купить себе деревеньку и тем обеспечить себя и будущих детей.

В эпилоге автор сравнивает Русь с птицей-тройкой, несущейся вперед, мощно, неотступно и никто не смеет ей помешать или остановить.

Тарас Бульба

Два сына старого Тараса Бульбы – крепкие, здоровые, дюжие молодцы приезжают домой из Киевской бурсы, где они учились и не виделись с родителями год. Старик смеется с их длинных свитков (верхней одежды), но старший не дает себя в обиду и она в шутку дерутся на кулаках. В это время мать радостно обнимает младшего сына. Отец сразу сообщает, что все, чему их учили в академии – дрянь, а настоящую науку они узнают только в Запорожье. На причитания матери о том, что побыть сыновьям дома только недельку, никто не обращает внимания, ее отправляют накрывать на стол, требуя тащить целого барана, медов сорокалетних, много чистой горилки, а сами направляются в светлицу.

Светлица была чисто вымазана цветной глиной, а на ее стенах висели всяческие сабли, сетки для птиц, нагайки и прочее. На полках стояла разнообразная диковинная посуда синего и зеленого стекла, окошки были маленькими и тусклыми. По всей комнате были расставлены берестовые лавочки, большой стол под образами и огромная печка со всякими выступами. В связи с приездом сыновей были созваны все сотники и полковой чин, а также старый приятель Бульбы есаул Дмитро Товкач. Гордый отец представил всем своих детей, а его поздравляли с тем, что вырастил таких молодцев. Во время застолья пьяный и разбуянившийся отец объявил о том, что ехать в Запорожскую Сечь следует уже завтра и он поедет с ними. Бедная, несчастная мать с ужасом слушает это, она скучала по детям, а ей не дают даже наглядеться на них, но против сказать ничего не может, только плачет. Она привыкла давно, что с ней Бульба не считается совершенно.

Сам Бульба – грубый, страшно упрямый старый полковник. Вспыльчивый и агрессивный, он хватался за саблю всякий раз, как комиссары посмели чем-то не уважить старшин и не снимали перед ним шапок, смеялись над православием и если были турками и басурманами – врагами его, считал бражничество важным качество настоящего козака. С детьми собирается ехать просто, чтобы похвастать ими перед своими товарищами. Наскоро заканчивает приготовления к завтрашнему отъезду и идет с сыновьями спать на двор. Почти сразу начинает храпеть. Не спит только мать, склонившаяся над своими спящими сыновьями, слезы текут по ее лицу и она не знает, увидит ли она их когда-нибудь еще. От мужа она любви никогда не знала, видела его в году два-три дня, терпела постоянные оскорбления и побои.

Отрадой ее было только материнство, а теперь и детей у нее забирали. Отчаяние переполняет ее душу.

Утром она по-прежнему около сыновей, но ее отправляют готовить завтрак, а сам Бульба принарядил сыновей: выдал им красные сафьяновые сапоги, широченные шаровары, ярко-красные козакины с узорчатыми поясами, турецкие пистолеты и сабли. На головах их были черные бараньи шапки с золотым верхом. После благословенья и надевания на шеи сыновей небольших икон, плачущая мать просит не забывать ее, с надеждой цепляется за стремя коня младшего сына, как-бы пытаясь его удержать, но ее уводят в хату рослые козаки. Но когда уже выехали муж и дети за ворота, кинулась она опять стремительно стрелой из дома, рыдая остановила лошадь одного из сыновей. Ее снова увели. Этот эпизод расстроил молодых козаков, они еле сдерживали слезы, боясь отца, даже Бульба был смущен, хотя и не показывал этого.

Оба сына были в двенадцатилетнем возрасте отданы на обучение в Киевскую академию, которая была призвана сделать их не такими дикими и привить старание к наукам. Старший – Остап в первый же год удрал из академии, его поймали, жестоко высекли и посадили за книги. Он четыре раза закапывал в землю свой букварь, несмотря на то, что его каждый раз наказывали за это. Впрочем, закопать букварь в землю с глаз долой и в пятый раз, ему помешала только клятва отца, что тот отдаст его на двадцать лет в монастырские служки, а Запорожья он и вовсе никогда не увидит. Тогда он начал учиться, даже стал наравне с лучшими, но его по-прежнему жестоко секли учителя. Все, что его интересовало – это война и веселая пирушка, но он никогда не выдавал своих товарищей, был добр, насколько это было возможно, слезы матери глубоко взволновали его.

Второй сын – Андрий был гораздо более чувствительным и изобретательным, часто умудрялся избежать наказания розгами за свои проделки, учеба давалась ему легко и непринужденно. Но он очень рано стал испытывать потребность в любви, фантазировать о женском теле, но скрывал эти мысли ото всех, поскольку козаку нужно было сначала познакомиться с битвой, а не с женщиной. Однако это ему не помешало влюбиться в дочку Ковенского воеводы, нахально через крышу и дымоход пробраться прямо к ней в спальню и еле-еле унести ноги от дворни, которая все равно успела его поколотить как следует. Вскоре прекрасная полячка перестала показываться в окошке, а подойти совсем близко к ее дому и все разузнать мешал страх перед большой дворней. Вот о чем размышлял в пути Андрий.

Поездка проходила без приключений, ни одна деревня им не встретилась на пути, а только огромная бескрайняя степь. Только

однажды отец показал детям на черную точку вдалеке, которая оказалась татарским всадником. Татарин посмотрел на них, но быстро ретировался, поскольку козаков было тринадцать человек. Опасаясь засады, Бульба с сыновьями прямо на конях заехали в реку Татарку, чтобы смыть свой след и потом продолжили путь как ни в чем ни бывало. Через некоторое время они доехали до Днепра, сели на паром и через три часа прибыли на остров Хортицы, где тогда располагалась Сечь. Повседневная жизнь в Запорожской Сечи являла собой постоянную пирушку, невероятным разгулом веселья, изредка прерываемую упражнениями по стрельбе в цель или погоней за зверем. Это было собранием народа самого различного и любой мог запросто прийти туда, чтобы потом хвастаться, что он храбрый воин. Люди усердно молились все в одной церквушке, но это не мешало им по-прежнему пьянствовать и вести разгульный образ жизни. Женщины же, даже близко не смели подходить к этому месту. Суровы были законы Сечи за всякие провинности: укравший что-нибудь козак позорил всех, поэтому эго привязывали к позорному столбу и рядом оставляли дубину, которой каждый лупил его до самой смерти; должника приковывали к пушке, пока кто-то из товарищей не выкупал его; убийство каралось особенно жестоко – убийцу закапывали заживо вместе с гробом убитого. Остапу и Андрию нравилась такая жизнь, их уважали, но старый Бульба изобретал способ взбаламутить всю Сечь на какое-нибудь дело, чтобы в настоящей войне проверить сыновей. А когда прежний кошевой отказался идти на кого-нибудь войной, последний подговорил своих дружков его скинуть и избрать нового кошевого более сговорчивого и своего давнего приятеля Кирдягу. Путем махинаций и обмана было объявлено, что поляки совсем обнаглели, унижают козаков и всячески над ними издеваются, вся Запорожская Сечь единым фронтом двинулась войной на Польшу.

Весь польский юго-запад охватил ужас. Люди спасались как могли, но все равно то тут, то там объявлялась свирепая запорожская армия, без разбору жгла дома, убивала, издевалась над женщинами и младенцами, пировала на крови людей. Андрию и Остапу был чужд разбой, поэтому они больше упражнялись в бою и были одними из первых, особенно, второй – он показывал невероятную прыть для двадцатидвухлетнего юноши. Но и первый – сильный, смелый воин. В поисках богатой казны было решено идти на город Дубно, но запорожцы неожиданно встретили сопротивление местных жителей. Тогда они отступили и осадили город, заодно выжигая дотла обильный урожай хлеба. Молодежи не сильно нравится безделье, она рвется в бой. Прибыло подкрепление войска Тараса Бульбы от Дмитро

Товкача. Давно закончилась вечеря, наступила ночь и все козаки легли спать. Не спит этой июльской ночью только Андрий, смутные порывы терзают его душу. Вдруг, увидел он, женщину, склонившуюся над ним, которая оказалось татаркой-служанкой той полячки, к которой молодой человек два года назад забрался в дом. Она сообщает, что девушка в городе и уже два дня ничего не ела, поэтому просит хлеба хоть для своей умирающей матери. Чувства взыграли в горячей крови юноши, он собрал в мешки всю провизию, какую только нашел и пошел вслед за служанкой к подземному входу, который вел прямо в город. По дороге внезапно просыпается старый Бульба и грозит сыну не связываться с женщинами. Тот ни жив, ни мертв и боится смотреть в глаза отцу, но через некоторое время видит, что тот снова спит.

В сопровождении татарки молодой человек приходит в город и видит страшную картину множества смертей от голода. Мчится скорее к любимой и видит, что она стала еще прекраснее, чем была раньше. Преисполненный чувств решается предать отца, брата, всю Украину и остаться рядом с девушкой, помогать и защищать ее. Тем временем, в город прибыла подмога польской армии, которая привезла провиант. А в лагере запорожских козаков думали как пробраться в город и решили просто выжидать, когда поляки сами выйдут за ворота. В этот же момент еврей Янкель сообщает Бульбе, что Андрий в городе и теперь сам польский пан, и что отец теперь не отец ему, а брат не брат и он готов со всеми ними сражаться. Старик в ярости. Состоялась битва с поляками, много полегло народу с обеих сторон, но среди них не было Андрия.

Воспользовавшись отсутствием козаков татары напали на Сечь, ограбили ее, уведи скот, вырыли из земли скарб. Тогда часть козаков осталась дальше осаждать город, а вторая часть отправилась на татар. Бульба остался в засаде, он хотел поквитаться с сыном. Полякам становится известно, что часть запорожской армии ушла и они решаются напасть на них. Завязывается жестокая битва. Тарас подговаривает товарищей, чтобы они как-нибудь приманили Андрия в лес и там его безжалостно убивает. Тем временем, польская армия получила еще подкрепление и они полностью разгромили запорожцев. При этом, Остап взят в плен, а раненый Бульба убегает в Сечь.

Окрепший Бульба постоянно думает о плененном сыне и уговаривает еврея Янкеля помочь ему попасть в Варшаву, чтобы как-то выручить Остапа, он готов отдать за это все свои богатства. И действительно попадает в Польшу, но сыну ничем помочь не может, присутствуя на площади во время его жуткой казни. Тогда

он клянется себе свирепо отмстить за сына. Собирает снова козачье войско и идет с ним на врага, которого жестоко громит. Однако польский гетман Николай Потоцкий умоляет о пощаде и клянется никогда не нападать больше на запорожцев, ему верят и оставляют в живых. Сомневается только Бульба. Через некоторое время становится очевидным, что он был прав: сильное польское войско нападает на козаков и уничтожает их. Самому Тарасу удается бежать. С этой поры он с немногочисленным своим войском нападает на поляков везде, где только можно, сея страх и разрушения, не щадя никого живого. Так он претворяет в жизнь свою месть за сына.

Тем временем, Николай Потоцкий собрал огромную армию и целеустремленно выслеживал Бульбу. Ему это удалось на берегу Днестра-реки. Завязался жестокий бой, длившийся несколько дней и Тарас был схвачен. Его приковали железными цепями к старому дереву, пробили гвоздями руки, а у подножья развели огонь. Но даже умирая такой страшной смертью, пытается он помочь своим выжившим однополчанам, направляя их вниз к берегу, где стоят челны. Запорожцы спасаются, вспоминая дорогой Тараса Бульбу.

Вечера на хуторе близ Диканьки

Простому хуторянину страшно бывает высунуть нос в большой свет – все сразу начинают его обступать со всех сторон и дурачить. Еще не так обидно, когда это делает высшее лакейство, а если какой-нибудь мальчишка-оборванец, так и совсем грустно становится. Лучше уж два раза в год съездить в Миргород, где я уже пять лет не был, чем соваться в этот большой свет.

На хуторах издавна заведено, что как только заканчиваются работы в поле, забирается мужик на печь и лежит там всю зиму. С осени убирают пчел в темный погреб, собирают урожай и когда даже журавлей в небе уже не видно, начинаются развеселые гуляния. Как только наступает вечер, виден огонек из какой-нибудь хаты, оттуда доносятся песни и смех, бренчит балалайка, а иногда и скрипка, говор, шум – это вечерницы. Они чем-то походи на балы, только на первые приезжают, чтобы повертеть ногами и позевать в руку, а вторые – толпа девушек собирается будто бы для работы, с веретеном в руках, льются песни, никто не глядит по сторонам, все заняты делом. Ровно до той поры, пока не появляются парубки со скрипачом, тут поднимается такое веселье, танцы, крики, что и сказать нельзя.

Но самое интересное начинается, когда они все собираются тесной компанией и тихонько начинают загадывать загадки или рассказывать разные истории. Чего там только ни услышишь! И старинные предания, и страшные байки. А самые диковинные истории рассказывались на вечерах у пасичника Рудого Панька. Временами, соберутся накануне праздника в тесной пасичниковой лачужке в гости добрые люди, сядут за столом и тогда только слушай. И собирался не простой народ из мужиков хуторянских, а лица, чье посещение делало честь хозяину и повыше пасичника. Например, дьяк диканьской церкви Фома Григорьевич – носил балахон из тонкого сукна, цвета застывшего картофельного киселя, чистил сапоги самым чистым смальцем, пользовался белым платком, вышитым красными нитками по бокам. А был еще панич, который очень витиевато выражался, что его никто понять не мог, только диву давались где он таких слов набрался, в каких книжках. Ему Фома Григорьевич даже однажды рассказал присказку об одном школьнике, учившемся у дьяка грамоте и приехавшем домой к отцу. Только отец не мог понять чадо свое, тот все на латинский манер выговаривал и ко всем словам добавлял окончание «ус»: баба-бабус, лопата-лопатус. И пошли они однажды в поле с отцом, а сын спросил, показывая на грабли, как это по-вашему называется. Да не заметив, наступил

на зубцы и пребольно получил обухом по лбу, зато, сразу вспомнил их название. Паничу не понравилась такая присказка и едва уже дело и до драки чуть не дошло, но в этот момент поставили на стол горячий книш с маслом и все начали у довольствием есть.

А как соберетесь в наши края, то спросите только любого мальчишку, пасущего гусей в испачканной рубашке о том, где живет Рудый Панько и вам сразу укажут, а то и проводят. Только обращайте внимание особливо на дороги, они у нас не так гладки, как в Петербурге, а приехавший из Диканьки погостить Фома Григорьевич и вовсе упал в канаву на своей тарантайке, хоть и правил ей сам, и глаза у него были покупные в довершение к собственным.

Когда же вы доберетесь до нас, то подадим вам дынь самых лучших, каких вы и не видывали никогда, и меду, дух от которого так и расходится по всей комнате, чистый как хрусталь, а пироги – сахар, чистый сахар! И масло так и течет по губам, как есть начинаешь. Ох уж эти бабы, чего они только не умеют! А пробовали ли вы грушевый квас с терновыми ягодами или Варенуху с изюмом и сливами, или… Впрочем, лучше сами приезжайте и всего отведайте.

Нос

25 марта в Петербурге случилось невероятное происшествие: во время завтрака цырюльник Иван Яковлевич обнаружил в свежеиспеченном хлебе человеческий нос. К своему ужасу он признал, что нос принадлежал коллежскому асессору Ковалеву. Решительно не понимая как нос очутился в хлебе и подгоняемый руганью жены он пытается как-нибудь избавиться от находки, скажем, «случайно» выронив его где-нибудь на улице. Но, как назло, постоянно встречает знакомых и претворить план в жизнь не представляется возможным. Добредя до Исакиевского моста, он улучив минутку, швырнул тряпку, в которую был завернут нос, в Неву. Облегченно вздохнув, он в ту же минуту увидел квартального надзирателя, который видел как в реку было что-то выброшено.

В это время просыпается коллежский асессор Ковалев и сладко потянувшись, велит подать себе зеркало, чтобы взглянуть на вчерашний прыщик на носу. С ужасом обнаруживает, что носа на лице нет, а вместо него просто ровная как блин поверхность. В крайнем замешательстве трет лицо тряпкой, но нет носа и все тут. Расстроенный, выбегает из дома к обер-полицмейстеру, но на улице замечает карету из которой легко выпрыгивает господин в мундире, шитом золотом, в шляпе с плюмажем, замшевых панталонах и со шпагой на боку. Все указывало на то, что перед ним статский советник, который куда-то направлялся с визитом. Каково же было удивление и смятение Ковалева, когда он узнал в этом господине собственный свой нос. Вот дела! Что делать-то теперь? Как такое могло приключиться, чтобы родной его нос самостоятельно разъезжал в карете…? Едва чуя землю под ногами, Ковалев решается заговорить с этим странным господином, заставить его объясниться, но нагоняет того только около Казанского собора. В полумраке, среди икон обнаруживает статского советника молящимся. Но что сказать ему? Вся ситуация престранная. Наконец, собравшись с духом, несмело говорит господину, что он есть нос его собственный. Однако последний выказывает крайнее изумление и незаметно удирает от Ковалева.

Вконец обескураженный коллежский асессор направляется, как и собирался, к обер-полицмейстеру, но не застает его дома. Тогда догадывается подать объявление в газету, чтобы всякий встретивший этого нахального господина, немедленно направил того к нему. Но и в газетной экспедиции отказались принимать его публикацию, сочтя, что это навредит репутации газеты –

очень уж невероятное происшествие. Визит к частному приставу также закончился не удачно: тот намеревался вздремнуть после обеда и ему решительно не было никакого дела до беды Ковалева.

Измученный и обезнадеженный, ближе к сумеркам, добрался он домой, где предался горестным размышлениям о том как несправедливо все складывалось. И что было бы лучше без руки или без ноги, или, даже, без ушей, но без носа – невозможно появиться ни в одном приличном обществе. Кто-то, верно, должен быть виноват в том, что нос просто так взял и пропал, ни с того, ни с сего. Подозрения сразу пали на штаб-офицершу Подточину, безуспешно пытавшуюся выдать за него свою дочь. Вероятно, она из мщения подговорила каких-то колдовок-баб, чтобы они все устроили.

В эту же минуту из передней послышался голос, незнакомый Ковалеву ранее. Вошел полицейский чиновник красивой наружности и сообщил, что нос найден. Его случайно перехватили почти на дороге, когда тот собирался уехать в Ригу с поддельными документами. Радости коллежского асессора не было предела! Наконец-то, его родной нос снова у него. Но вот незадача: как же его прикрепить обратно на лицо? Безуспешно поупражнявшись перед зеркалом, решено было послать за доктором. Однако последний тоже ничем не смог помочь, посоветовав заспиртовать нос и продать за хорошие деньги. В отчаянии Ковалев написал письмо штаб-офицерше Подточиной, в котором просил вернуть ему без боя то, что она забрала. Но она сочла его послание очень странным и уверила, что ни о чем таком не знает и не виновата в случившемся.

Тем временем, город наводнили слухи о том, что нос коллежского асессора Ковалева самостоятельно каждый день разгуливает по Петербургу. Его якобы видели то на Невском проспекте, то в магазине Юнкера, то в Таврическом саду и это событие неизменно собирало огромные толпы любопытных. Появились даже мелкие спекулянты, делавшие на этом деньги.

Иногда случаются на свете происшествия, которых никто внятно объяснить не может. Вот и в этот раз, нос Ковалева вдруг оказался на своем месте, так же внезапно, как до этого пропал. Случилось это 7 апреля, когда коллежский асессор, называвший себя майором, случайно посмотрел в зеркало и обнаружил нос. Целехонек и невредим. И ничто не указывало даже, что он куда-то отлучался, как-будто и всегда был на лице. С тех самых пор никто не видел майора в дурном расположении духа, всегда он был улыбчив и чрезвычайно обходителен.

Портрет

Мало какое место в Петербурге могло похвастать таким собранием народа и праздных зевак, как картинная лавочка на Щукином дворе. Чего там только не было: и старинные картины, писаные масляными красками и покрытые темно-зеленым лаком в темно-желтых мишурных рамах, и гравированные изображения всяческих портретов, и произведения, отпечатанные лубками на больших листах – собрание самородных дарований русского мужика. Покупали это все не слишком часто, но желающих посмотреть всегда было огромное множество.

Остановился перед этой диковинной лавкой и молодой художник Чартков. Изношенная шинель его и потрепанная одежда выдавали в нем того человека, который всецело занят своим трудом, составляющем всю жизнь его и ему нет решительно никакого дела до внешности. Однако молодость придает таким людям некоторую привлекательность. С отвращением смотрел Чартков на эти малевания, размышляя о том, кому нужна вся эта безвкусица. Погруженный в свои мысли, он не сразу заметил продавца лавочки, вот уже некоторое время пытавшегося договориться с ним о цене за какие-то картины. Ничего не купить было уже нельзя и молодой художник начал рассматривать картины, валявшиеся на полу лавочки, в надежде найти что-то ценное. Наконец, нашел он портрет одного старика с бронзовым лицом, скулистым и чахлым, но более всего поразительны были глаза старика – они были как живые и смотрели прямо в упор на Чарткова. Было в них что-то мистическое и отталкивающее, но оторваться от них было нельзя. Сам потрет был в огромных рамах, бывших когда-то золочеными, но ныне остались лишь следы той позолоты. Сторговавшись с продавцом за двугривенный, молодой человек неожиданно для себя купил это творение.

Уставший от того, что приходилось постоянно поправлять портрет, норовивший вышмыгнуть из-под мышки, Чартков пришел в свое убогое жилище в Пятнадцатой линии на Васильевском острове. Дверь ему открыл его приспешник, краскотер и натурщик Никита, сообщивший, что накануне приходил хозяин с квартальным, чтобы требовать денег за квартиру. Из горестных размышлений о своем бедственном положении, молодого художника вывел портрет им же купленный и о котором он успел позабыть. Глаза старика были как живые, смотрели прямо на него, от этого взгляда невозможно было спрятаться, что-то жуткое и необъяснимое было в нем. Тогда

художник укрыл картину простыней, а сам отправился к себе за ширмы спать. Но сон его был крайне беспокоен, наполнен кошмарами и видениями о том, как странный старик скидывает простыню, выбирается из рамы, ходит по комнате, высыпает из мешочка на поясе тяжелые свертки в виде столбиков, завернутые в синюю бумагу, на которой было написано: «тысяча червонных», пересчитывает их и складывает обратно. Кажется бедному Чарткову, что один такой сверток укатился совсем близко к его кровати и он даже подобрал его, страшась того, чтобы старик этого не приметил.

Утром снова пришел хозяин с квартальным надзирателем за деньгами. Последний был не чужд искусства и принялся с интересом изучать творения художника, задавая вопросы и предложил хозяину оплату за квартиру картинами, раз у Чарткова денег нет. Но хозяин наотрез отказался, а Варух Кузьмич – квартальный надзиратель уже рассматривал потрет странного старика. Схватившись за раму картины, он не рассчитал своей богатырской силы и она треснула, откуда выпал длинный сверток в синей бумаге, который ранее привиделся во сне Чарткову. Заверив хозяина, что ему всенепременно вечером заплатят эти двое ушли, а художник остался наедине со своими внезапно появившимися деньгами.

Следует сказать, что Чартков был талантлив и печать этого лежала на всех его эскизах, пробах, набросках. Поэтому он изначально намеревался закрыться годика на три в комнате и писать в свое удовольствие, раз о пропитании теперь думать не нужно. Этих денег хватило бы и на краски, и на мольберты. Поработавши бы для себя, а не на продажу, сделался бы он настоящим мастером. Но ему было только двадцать два года и мысль о том, что теперь он мог позволить себе все то, о чем раньше только мечтал, вскружила голову, заставила сердце биться чаще. И в тот же день он оделся с ног до головы у портного, снял себе шикарную квартиру на Невском проспекте, объелся конфектов в кондитерской, пообедал во французском ресторане. А на следующий день подал объявление в газету о том, что в городе появился новый талантливый художник. Весть об этом быстро распространилась по городу и вскоре Чартков уже принимал первый заказ: даму аристократической внешности и ее восемнадцатилетнюю дочь, с которой нужно было написать портрет. И все бы ничего, но девице вскоре надоело позировать, а ее мать пришла в ужас от реалистичности изображения, заставив замазать все несовершенства и особенности лица. Никто не хотел видеть себя таким, какой он есть, все хотели быть идеальными на картинах. Это поначалу расстраивало художника и от нечего

делать он взялся на свой старый набросок Психеи, придав ему весьма отдаленное сходство с дочерью важной дамы. И это творение произвело фурор! Появилось огромное количество заказчиков, желавших быть увековеченными для потомков в идеальных портретах. Жизнь Чарткова закрутилась бешенным вихрем, состоя из светских раутов, ужинов, визитов, галерей и он сам не заметил как стал старым брюзгой, пишущим однотипные картины.

Все изменилось, когда его пригласили высказать свое мнение о работе одного художника, который уехал в Рим и там полностью предался живописи, ведя аскетический образ жизни. Увиденное настолько потрясло Чарткова, что внезапно он осознал какую чудовищную ошибку совершил, погнавшись за деньгами и загубив свой талант. Не в силах справиться с отчаянием и приступами гнева, он вскоре сошел с ума, заболел чахоткой и умер в страшных мучениях. Даже перед кончиной его донимали те ужасные бесовские глаза старика со старой картины.

Спустя время, этот потрет находится уже на аукционной продаже в доме богатого мецената. Собравшаяся публика, пораженная необычными глазами азиата с картины, спорит о цене, как вдруг появляется художник Б. со словами о том, что это творение принадлежит ему. И он рассказывает историю о том, как еще во время правления Екатерины Второй в Коломне поселился странный ростовщик, носивший широкую азиатскую одежду, с узким смуглым лицом, высокий ростом и нелюдимый. Но самыми примечательными были его глаза, горящие странным огнем и широкие густые брови. Он легко мог ссудить какую-угодно сумму любому человеку на достаточно большой срок, но проценты исчислялись им таким чудны́м образом, что в итоге превращались в невероятную сумму. А сами заемщики весьма скверно заканчивали свою жизнь при странных обстоятельствах.

Отец рассказчика тоже был талантливым художником-самоучкой и однажды к нему пришел этот страшный ростовщик, которого сторонился весь город, с просьбой написать его потрет, но так, чтобы на холсте он был как живой. И началась работа, но продвигалась она мучительно и медленно, а вскоре отец рассказчика и вовсе понял, что не в состоянии более заниматься портретом, успев только выразительно передать глаза ростовщика на холст. Слова последнего о том, что будучи запечатленным на картине, он никогда не умрет и сделается бессмертным, сильно напугали художника, а сам ростовщик вскоре умер. От полотна исходила столь сильная отрицательная энергия, что она губила все хорошие помыслы и чувства. Старый художник собирался ее изрезать и сжечь, но ему помешал это сделать друг, забравший

картину себе. Но ненадолго – он отдал ее своему племяннику, а тот потом ее кому-то продал – никто не мог выдержать у себя долго это творение. Гнетущее чувство вины за создание этого страшного портрета сподвигло художника на постриг в монахи, а потом и одинокую аскетичную жизнь в пустыне, неустанно молясь. Венцом этого стала прекрасная картина Рождества Христова, признанная шедевром живописи.

Во время встречи с сыном (рассказчиком истории) отец благословляет его и просит при случае уничтожить тот портрет, если когда-нибудь его увидит. Через пятнадцать лет сын находит страшное полотно, но пока он рассказывал эту историю, картину успели украсть.

Шинель

Акакий Акакиевич Башмачкин служит титулярным советником в одном департаменте. С виду он неказист: низок ростом, чуть-чуть рябоват, чуть-чуть рыжеват, подслеповат и с небольшой лысиной на лбу. Сослуживцы его не уважают, а молодежь над ним потешается, придумывая разные издевки. Даже начальство с ним никак не считается. Как давно он служит в департаменте и когда туда поступил никто наверное сказать не мог. Думали, что он родился уже полностью готовым к канцелярской службе и со своей лысиной на лбу.

Он очень любит свою работу – переписывание различных документов. Настолько, что даже приходя домой, наскоро хлебает щи, есть говядину с луком и мухами и всем, что попадется, не разбирая вкуса их и принимается за переписывание бумаг, которые принес со службы. Его совершенно не интересует что происходит на улице, он полностью погружен в свои мысли о ровных красивых буквах и вполне доволен своей жизнью. Не смущают его и всякие мелкие оказии вроде прицепившейся ниточки или кусочка сена к его вицмундиру, или выброшенной арбузной корки, упавшей аккурат на его шляпу.

Невозможно игнорировать только петербургский мороз, от которого страдают многие мелкие канцелярские чиновники. Вот и Акакий Акакиевич стал замечать, что несколько подмерзает в спину и плечи. Произведенная дома ревизия шинеля, который, впрочем, его сослуживцы часто называли капотом за странный мешковатый вид с тонким воротником, выявила, что ткань как раз на спине и плечах истерлась до такой степени, что стала больше напоминать дырки. Было решено снести ее портному Петровичу для починки. Но последний внимательно рассмотрев старый капот и изрядно нанюхавшись табаку из коробочки с каким-то генералом, заклеенным квадратной бумажкой, сказал, что починка невозможна, а новая шинель обойдется Башмачкину в сто пятьдесят рублей.

Расстроенный титулярный советник решает, что Петрович сейчас трезв, а потому несговорчив. Если заглянуть к нему в субботу, когда тот будет пьян, то договориться о починке капота будет проще. Однако и в субботу пьяный Петрович наотрез отказывается чинить старую шинель и предлагает шить новую. Башмачников опечален нехваткой денег, ведь все будущее жалованье уже распланировано и распределено и позволить себе новые траты он не может. Вспомнилась ему его копилка, куда он от каждого рубля откладывал грош, а потом заменял на мелкое

серебро и где за долгие годы накопилось сорок рублей. Но и этого не хватит на новую шинель. Тогда он начал экономить, отказывая себе во всем: почти на цыпочках ходил по булыжной мостовой, чтобы сберечь ботинки, не ужинал, не зажигал вечером свечу, а пользоваться хозяйской. Но все тяготы ему помогала перенести мысль о новой шинели.

Постепенно, принятое решение совершенно преобразило его: он стал более уверен в себе, исчезла его привычная нерешительность, поступки стали тверже. Он, даже, как-будто женился, но его спутницей стала не приятная подруга, а шинель. А однажды и вовсе чуть не совершил ошибку, переписывая документ, поскольку мысли его витали вокруг идеи положить куницу на воротник. Наконец, сумма в восемьдесят рублей, которая требовалась для шинели была собрана. Было куплено самое лучшее сукно, самая прочная подкладка. На куницу денег не хватило, но хватило на кошку, которая издали смотрелась не хуже. За две недели Петрович сшил новую добротную шинель, взяв за работу всего двенадцать рублей и сам был ей очень доволен.

К Акакию Акакиевичу вожделенная шинель была принесена утром перед тем, как идти в департамент, искусно накинута на плечи и подтянута сзади и по бокам. Она оказалась как раз впору и была превосходного качества. Довольный и счастливый Акакий Акакиевич даже не заметил дороги на службу, беспрестанно улыбаясь. Сослуживцы принялись его поздравлять с обновкой и сказали, что по этому поводу следует устроить вечер. Поскольку сам Башмачкин краснея пытался отказаться, другой чиновник предложил собраться у него дома, заодно, отметить его именины. Жил этот чиновник очень далеко, на другом конце города, а посиделки затянулись далеко за полночь. И когда титулярный советник возвращался домой произошло страшное: на пустынной площади на него напали и отобрали шинель. Не помня себя от горя, прибежал он домой, где ему посоветовали идти назавтра к частному, чтобы он помог поймать вора.

Но частный не захотел ему ничем помочь, а «значительное лицо» и вовсе накричало, отругало и отправило восвояси. На службе по-прежнему смеялись над его старым капотом, который истерся окончательно, хотя некоторые предложили сложиться деньгами, но сумма была слишком мала. Возвращаясь от генерала, обругавшего его, был он так расстроен, что не замечал ни ветра, ни вьюги, сбивался с пути, широко раскрывая рот. Его хорошенько продуло и на следующее утро обнаружилась сильная горячка. Приглашенный доктор прописал ему припарки, но хозяйке сказал, что долго пациент не протянет, посоветовав

заказать сосновый гроб, так как дубовый будет для него слишком дорог. Вскоре Башмачкин Акакий Акакиевич действительно умер и его похоронили.

Но вот дела, что творится на свете! По Петербургу пронеслась молва о том, что около Калинкина моста стал появляться мертвец в поисках своей шинели и сдирать со всех без разбору шубы: с лисами, с бобрами на воротниках, просто ватные. Причем, не было спасу никаким чиновникам: ни мелким, ни крупным, ни, даже, тайным советникам. Один из чиновников из департамента сам лично видел этого мертвеца и сразу признал в нем покойного Акакия Акакиевича и это вселило в его душу такой ужас, что он удирал от него, не разбирая дороги. Между тем, «значительному лицу» сделалось совестно за то, что он накричал на Башмачкина, а узнав, что последний умер, так и вовсе расстроился. Поправить свое душевное состояние он решил в приятной компании приятелей, а после отправиться к Каролине Ивановне – приятельнице его, помимо законной супруги. И все бы ничего, но по дороге к ней, сидя в санях, вдруг почувствовал, как кто-то крепко схватил его за воротник. В наглеце генерал узнал Акакия Акакиевича и страх овладел им совершенно. А мертвец укорил его за то, что раз тот не помог найти его шинель, так пускай теперь отдает свою. Скинул он сам с плеч шинель и приказал кучеру скорее везти его домой, а не к Каролине Ивановне. Это событие произвело на него впечатление чрезвычайное. С тех пор приучился он сначала выслушивать человека, что ему надобно, а уж потом ругать его. А Башмачкин, видимо, удовлетворился полностью генеральской шинелью, поскольку больше его приведение на наводило ужас на Петербург.

Невский проспект

Невский проспект – центральное место в северной столице. Он поражает своей красотой, великолепием, чисто выметенными улицами. Само нахождение там вселяет радость и беззаботность. Ни один живущий там человек никогда не променяет эту улицу ни на какую другую в Петербурге. Там всегда многолюдно: от всякого ранга чиновников до бравых солдат, гремящих шпагой или прекрасных воздушных молоденьких дам. Одни степенно прохаживаются, совершая променад, другие – спешат куда-то по делам. Во всем городе не сыщется места лучшего для того, чтобы узнать все новости и сплетни, там же наверняка можно встретить всех знакомых или приятелей, с которыми давно не виделся.

Сколько событий и перемен совершается на Невском проспекте в течение одного только дня! Ранним утром, когда весь Петербург наполнен запахом свежеиспеченного хлеба, и старушками в древних одеждах, устремляющимися в церкви – проспект пустынен. Богатые содержатели магазинов еще спят или только-только пьют свой кофий, нищие собираются около кондитерских в надежде на объедки, русские мужики в своих сапогах, измазанных известью, торопятся на работу, изредка показывается какой-нибудь чиновник, спешащий в департамент. В это время решительно нельзя показываться там дамам, поскольку можно услышать столь крепкое выражение, какого и в театре не скажут. До двенадцати часов Невский проспект лишь средство, а не конечная цель.

В двенадцать часов он становится педагогическим. Выбираются всякие бледные миссы и славянки со своими подопечными – легонькими девчонками, которых те наставляют держать ровнее спину или приподнять плечи. Ближе к двум часам педагогов и их детей вытесняют родители, степенно прохаживающиеся в компании пестрых нервных приятельниц. Постепенно к ним присоединяются все, закончившие свои важные дела: прочитавшие афишу или статью в газете и напившиеся кофию, чиновники по особым поручениям, служители иностранной коллегии. С двух до трех часов дня Невский проспект представляет собой невероятную человеческую «выставку»: целое море разнообразных женских платьев и воздушных шляпок, лучшие щегольские сюртуки и бакенбарды у мужчин. Ровно в три часа проспект покрывается весь чиновниками в зеленых вицмундирах, торопящихся скорее домой. В четыре часа пополудни вновь наступает затишье, нарушаемое лишь изредка пробегающей швеей или заезжим чудаком. Как

только наступают сумерки Невский проспект вновь оживает и заполняется прохожими: множеством холостых молодых людей, коллежскими регистраторами, секретарями, почтенными стариками, бегущими не хуже молодых, чтобы заглянуть под шляпку к даме, артельщиками, купцами, гуляющими целой толпой.

Именно в это время на улице встречаются два приятеля поручик Пирогов и художник Пискарев. Первому понравилась блондинка и он самоуверенно собирается идти за ней, второму – брюнетка, но он робок и не смеет поверить своему счастью, чтобы только посмотреть на дом, где живет прекрасная незнакомка. Оба расходятся в разные стороны. Пискарев следует за очаровавшей его прекрасной брюнеткой и она приводит его в дом, где царит разврат. Шокированный, он никак не может поверить, что эта красавица оказалась в таком месте. Не в силах справиться с эмоциями, он опрометью убегает. Дома предается грустным размышлениям о том, как такое могло получиться и незаметно засыпает. Во снеему видится эта же прекрасная брюнетка, что они с ней на блестящем балу, но никак не могут толком поговорить и она в итоге ускользает. Он ищет ее образ во всех своих сновидениях, а когда наступает бессонница, принимает опиум, чтобы только хоть на минутку снова увидеть ее. Вся жизнь его большей частью проходит во сне. Наконец, он решается встретиться с ней в реальности. Приходит в тот странный дом и пылко уговаривает ее оставить свое занятие и стать его женой. Но она отказывается. Несчастный Пискарев, сходя с ума от отчаяния, на другой только день как-то добрел до своей квартиры, где закрылся и ничего не просил. Спустя целую неделю его хватились, выломали дверь в его комнату и нашли бездыханное тело. Он перерезал себе горло. Его тихо похоронили и никто из знакомых даже не пришел с ним проститься.

Тем временем, поручик Пирогов, увязавшись за блондинкой оказался около квартиры мастерового – швабского немца и она была его женой. С целью сблизиться как-то с ней, он заказал у ее мужа шпоры, но блондинка давала поручику решительный отпор. Тогда он пришел к ней, когда супруга не было дома, предложил устроить танцы и в беспамятстве кинулся целовать молодую немку. В этот момент пришел муж с друзьями – другими мастеровыми, тоже немцами и поступили с Пироговым весьма грубо и жестко. Последний собирался было жаловаться на немецких ремесленников генералу, желал им розог и ссылки в Сибирь, но поев слоеного пирожка, успокоился и решил, что дело того не стоит.

Невский проспект прекрасен, но коварен. Все вокруг обман и

не то, чем кажется. Не следует доверять никому и ничему там встреченному.

Ночь перед Рождеством

Минул последний день перед Рождеством и наступила зимняя, ясная ночь. Ярко горели звезды, а среди них величаво красовался месяц. Морозило крепче, чем днем и тишина стояла такая, что скрип снега под ногой было слышно за полверсты. Парубки еще не показывались перед окнами хат, чтобы колядовать, а ясный месяц, заглядывая в окна, приглашал принарядившихся девушек скорее выходить на скрипучий мороз. В этот момент через трубу одной из хат повалил густой дым, собираясь тучей на небе и вместе с дымом вылетела ведьма на метле. Она поднялась так высоко, что вскоре стала казаться просто мелкой черной точкой, подлетающей к звездам и собирающей их в рукав, поскольку те сразу гасли при ее приближении. И когда оставалось уже три-четыре звездочки на небе, с противоположной стороны появилось другое темное пятно, увеличилось, растянулось и уже не было похоже на черную точку. Но кто же это такой? Существо было с узенькой, постоянно вертевшейся в разные стороны и вынюхивавшей все, что ни попадя, мордочкой, оканчивавшейся, как у свиней, круглым пятачком. Ноги его были такими тонкими, что диво, как не ломались, а сзади висел длинный и острый хвост. Козлиная бородка под мордой, маленькие рожки на голове и черный цвет всего тела выдавали в нем просто черта, которому осталась последняя ночь пакостить, ведь уже с первыми колоколами к заутрене, сгинет он в свое логово.

Черта интересует месяц и после нескольких неудачных попыток, он его, наконец, крадет в свой карман и убегает. Сделано это в надежде на то, что богатый козак Чуб не пойдет темной безлунной ночью на кутью к дьяку, куда его пригласили, даже ради варенухи и водки, настоянной на шафране, а останется в хате, чем помешает свиданию свой дочки и кузнеца – здорового, сильного детины, который черту не нравится страшно. Виной тому – талант кузнеца к малеванию и написанная им картина на которой святой Петр в день Страшного Суда, с ключами в руках, изгоняет из ада злого духа. С момента внесения которой в церковь и закрепления в стене притвора, решил черт мстить кузнецу.

Пропажа месяца, погрузила весь мир в темноту, сделалось так темно, что ведьма вскрикнула от неожиданности и страха, но черт уже тут как тут и шепчет ей на ухо всякие нежности.

Однако Чуб все же отправился в компании кума в гости, а свидание первой красавицы на деревне – Оксаны и влюбленного в

нее кузнеца, состоялось. Посреди встречи, они услышали сильный стук в дверь и кузнец пошел сам открывать.

Наверху было так холодно, что ведьма вскоре спустилась вниз и ловко запрыгнула обратно в трубу своей хаты, за нею же устремился и черт. Ведьму звали Солоха и она была матерью кузнеца Вакулы. Славилась она также тем, что умела так искусно обращаться с каждым, заходившим к ней кавалером, что никто из них не догадывался о соперниках. А ходили к ней и дьяк Осип Никифорович, и козак Корний Чуб, и козак Касьян Свербыгуз. Особенное расположение она выказывала козаку Чубу, который был богат и она уже мысленно видела себя хозяйкой его добра. Но чтобы ее сын Вакула не успел впереди нее жениться на Оксане и самому всем управлять, она постоянно ссорила последнего с Чубом. Между тем, по деревне давно ходили слухи, что Солоха – ведьма.

Пока Солоха хлопочет в хате по хозяйству, черт краем глаза успевает заметить, что Чуб все равно вместе с кумом пошел в гости. Кинулся он к ним, поднял вокруг сильную метель, чтобы дороги было не разобрать, а снегом залепило глаза и уши. И сам, совершенно уверенный, что Чуб сейчас придет домой и так сильно отругает Вакулу, что тот вмиг забудет как малевать обидные картинки на черта, спокойно вернулся в теплую хату к ведьме.

Тем временем, путники действительно сбились с пути, разошлись в разные стороны искать дорогу и кум, нашедший шинок, сразу зашел в сени, позабыв о товарище. А Чуб радостно увидел свою хату, постучался, чтобы ему отворили, но услышал грозный голос кузнеца. Как так? В его хате нечего делать Вакуле, это, верно, хата хромого Левченка, она похожа на его, вот он и спутал, а кузнец ходит к его молодой жене. Награждаемый сильными пинками и толчками кузнеца, Чуб, проклиная его, идет в хату к Солохе.

Но вот оказия: во время путешествия черта из трубы и потом снова в трубу, ладунка, в которой был спрятан месяц как-то случайно зацепилась и последний, пользуясь случаем снова вернулся на небо, вылетев прямо из трубы Солохи. Сразу сделалось светло как днем, молодые парубки и девушки пошли с песнями колядовать. Большой толпой они вломились и в хату Чуба, окружили Оксану и стали хвастаться тем добром, которое успели наколядовать. В этот момент молодая красавица замечает у подружки новые черевики с золотом и хвалит их, одновременно сокрушаясь, что ей некому подарить такие же. Тогда Вакула убеждает ее, что он сможет достать ей такие черевики, какие носит редкая панночка. Но Оксана надменно заявляет, что хочет

те самые, которые носит сама царица. И призывая подружек в свидетельницы, обещает выйти замуж за Вакулу, если он сможет добыть ей такие черевики.

Разомлевший и довольный черт шепчет Солохе всякие нежности, как вдруг раздается стук и грозный голос головы, которому та пошла открывать, а черт забрался в мешок. Вошедший голова объяснил, что не пошел к дьяку на кутью, поскольку началась сильная метель и он решил лучше провести вечер с ней. Только он это сказал, снова раздается стук и голос дьяка просит открыть. Голова умоляет спрятать его и Солоха предлагает ему большой мешок из-под угля. Дьяк сообщает, что к нему вообще никто так и не пришел, но он этому рад, ведь теперь можно побыть с ней. Начинает за ней жеманно ухаживать, как снова раздается стук – это козак Чуб. Дьяк тоже просит его спрятать и Солоха высыпает уголь в кадку из другого мешка, а в него забирается дьяк. Чуб просит чарку водки и пытается расстегнуть замерзший кожух. Но вновь раздается стук и голос кузнеца требует открыть. В ужасе Чуб умоляет его тоже спрятать. Испуганная Солоха в спешке прячет его в тот же мешок, где уже сидит дьяк. Заходит Вакула, видно, что он расстроен. А тут, как раз, снова слышен стук в дверь – это козак Свербыгуз, но его спрятать уже некуда, поэтому хозяйка идет с ним в огород, чтобы поговорить. Тем временем, кузнец замечает мешки и вспоминает, что завтра светлый праздник и мешки нужно отнести в кузницу. Завязывает их покрепче, взваливает на спину и уносит, вслух говоря только о любимой Оксане. По дороге снова слышит голос Оксаны среди веселых колядующих, скидывает мешки на землю, а с одним маленьким, где сидит черт, идет дальше и действительно видит девушку среди подружек. Он подходит к ней и говорит, чтобы та искала себе другого жениха, а над ним больше издеваться он не позволит, прощается с товарищами и все решают, что он повредился умом или собирается повеситься.

Вакула решает идти к запорожцу Пузатому Пацюку, который знает всех чертей, в надежде, что тот сможет помочь. Настоящий черт, который был в мешке за плечами кузнеца, так обрадовался, что начал раскачивать мешок, но Вакула сильно ударил по нему своей мощной рукой. Когда пришел кузнец, Пацюк хлебал галушки из миски, которая сама по себе находилась около его рта и тому, надо было только наклонить голову. Потом таким же образом он начал есть вареники, которые сами собой окунались в сметану и сразу попадали к нему в рот. Ничего от него не добившись, Вакула на минуту опустил мешок и оттуда сразу выскочил черт, которому не терпелось скорее напакостить кузнецу. Нечистый обещает молодому человеку любую помощь и

любовь Оксаны, на что тот сначала соглашается, а потом улучив минутку, хватает черта за хвост и собирается совершить над ним крестное знамение. Последний молит о пощаде и Вакула требует сейчас же нести его в Петербург к царице.

Тем временем, Оксане становится совестно за то, что она так сурова с Вакулой и она собирается быть с ним чуть помягче. Колядующая толпа замечает мешки, которые обронил кузнец и хочет утащить их в хату к девушке, но они не могут их поднять – такие они тяжелые. Тогда они бегут за санками, чтобы отвезти их. В этот момент из шинка выходит расстроенный и голодный кум, которому отказались ссудить в долг и видит мешки. Воображая, сколько там всяких съестных припасов кто-то наколядовал, он решает их отнести к себе, но не может поднять. Тут ему навстречу идет ткач Шапуваленко, которого он просит помочь, а добычу потом разделить. Нести решают в хату кума, который уверен, что жены нет дома, но притащив мешок, понимают, что она все же в хате. А поскольку его жинка – дама суровая, которая кума периодически колотила, ей ни за что не хотят показывать мешок. Но поздно, она его заметила и собирается отобрать, для чего дерется с мужем и ткачом. Но они мужественно защищают добро, которое считают своим. Решительную победу ей приносит кочерга, которой она хорошенько лупит благоверного и ткача и овладевает сокровищем, которое, верно, спрятано в мешке. Торжествуя, она заглядывает в один из них и, не веря своим глазам, говорит, что там целый кабан. Мужчины снова предпринимают попытку отобрать свой мешок, особенно, раз там целый кабан. И снова кочерга приходит на выручку супруге. Пока они сражаются за мешок, оттуда незаметно вылезает Чуб и потягиваясь, после сна, удивляется, что его назвали кабаном. Пыл битвы прошел и теперь все трое с удивлением уставились на Чуба. Последний насмехается над тем, что его недавно хотели съесть как свинину и утешает троицу словами о том, что в мешке еще что-то есть, оно шевелилось под ним и это, верно, поросенок. Все снова обступают мешок и опять готовы драться, но оттуда вылезает дьяк. Всеобщее удивление и негодование, что теперь не колбасы и паляницы кидают в мешки, а людей.

Вернувшиеся девушки с санками удивлены исчезновением одного мешка, но особо не расстраиваются – добра все равно хватит всем. Затаскивают мешок с головой в сени хаты Оксаны, а того начинает мучать икота, он издает звуки, которые пугают девушек и они разбегаются. Но сейчас в хате Чуб, который уже догадывается, что хитрая Солоха еще кого-нибудь спрятала в мешок. И действительно, из мешка вылезает голова. Все в недоумении. Но тот просто собирается и уходит.

А черт привез Вакулу уже в Петербург и обернувшись конем, лихо мчал того по улицам. Но сразу идти к царице было страшно, поэтому кузнец решил сначала посоветоваться с запорожцами, которые тоже направлялись к государыне с бумагами. Он приказал нечистому полезать к нему в карман и вести его куда следует. Почти сразу Вакула оказывается перед нужным домом и уговаривает запорожцев взять его с собой к царице. Наконец, они во дворце и восхищены и, даже, немного подавлены его великолепием. Пока запорожцы говорят царице то, чему их научил Потемкин, Вакула выжидает момент. И когда венценосная особа вопрошает чего же им надобно, кузнец кидается к ней в ноги и славит ее черевички, прося себе такие же. Царица смеется и велит подать самые дорогие черевики, шитые золотом. Молодой человек счастлив, делает комплимент сахарным ножкам царицы и хочет еще что-то спросить о царской жизни, но товарищи толкают его в бок, дескать, молчи. Тут он потихоньку наклоняется к карману и просит черта выносить его отсюда и в ту же минуту оказывается за шлагбаумом.

Между тем, отсутствие Вакулы заметили и все село полнилось слухами, что он утонул или повесился. Оксана очень расстроена, но надеется, что это все выдумки, ведь она крепко влюбилась в кузнеца. Минула заутреня, потом обедня, а его все нигде не видно. Сам Вакула вернулся домой на рассвете и завалился спать в сено, а когда проснулся, то солнце было уже высоко и он понял, что все проспал. Матери дома не оказалось и он бережно достал царские черевички, умылся, оделся, надел платье, в котором был перед государыней в Петербурге, достал из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, новый цветастый пояс, нагайку, завернул это все в платок и пошел к Чубу просить руки Оксаны. Он согласился и молодые сыграли свадьбу.

Проезжавший как-то через Диканьку архиерей нахваливал место, в котором стояло село и красиво размалеванную хату Вакулы, а особенно, что кузнец славно расписал церковь.

Майская ночь, или Утопленница

После дневных забот девушки и парубки собираются в кружок, поют песни, но молодой козак Левко, сын местного головы потихоньку сторонится своих товарищей и подходит к хате с низкими вишневыми деревцами. Здесь живет его возлюбленная Ганна. Он зовет ее песней, но она выходит не сразу, боясь строгости родителей, да девичьей зависти, да молодецкой грубости парубков. Отец молодого человека против этой женитьбы. Около хаты Ганна спрашивает Левку о доме с заколоченными ставнями, который зловеще отражается в темной воде пруда. И он рассказывает, что когда-то там жил сотник с дочкой-красавицей, но он снова женился и мачеха невзлюбила падчерицу, издевалась над ней, заставила отца совсем ее выгнать из дома. Тогда с горя молодая панночка кинулась с крутого берега в воду и стала главной среди русалок. Через какое-то время уволокла она в воду и мачеху-ведьму, но та сама обернулась утопленницей и избежала наказания. С тех пор в этом доме заколотили ставни, а сейчас там собираются делать Винницу, уже и винокур приехал. На этом они попрощались, поскольку Левко услышал, что идут его приятели.

В это время немолодой и изрядно пьяный Каленик пытается найти свою хату и ему в этом помогают молодые лукавые девушки, прося взамен потанцевать. Левко возвращается после прощания с другими парубками и видит, что его любимая Ганна с кем-то разговаривает о нем. Но с кем она говорит, рассмотреть не может. Этот кто-то ругает Левку и предлагает ей взамен свою настоящую взрослую любовь. При ясной луне видит разозленный Левка, что незнакомец – его отец. Расстроен и опечален он этим. Поэтому решается на сговор со своими товарищами парубками о том, чтобы наказать отца. Голова когда-то давно сопровождал в Крым царицу Екатерину, о чем часто любит вспоминать. Сейчас это овдовевший, старый, кривоватый, суровый человек, который немножко побаивается своей свояченицы. Он беседует в своей хате с винокуром, внезапно туда заходит совсем пьяный Каленик, которому девушки указали не правильную дорогу, и ругая голову на чем свет стоит, ложится на лавку, где засыпает. Голова недоволен, но еще более его злит камень, разбивший стекло, который кем-то брошен прямо в окно. В довершение всего, за окошком звучат весьма не лестные и даже обидные для него песни и он решает наказать зачинщиков.

Изловлен и определен в темную комору предполагаемый зачинщик. На нем черный вывороченный тулуп. Голова в

сопровождении винокура и десятского отправляется к писарю, чтобы поймать всех хулиганов и изобличить их. Но писарь говорит, что уже сам поймал негодника. Довольный голова и писарь идут в комору, но находят там свояченицу, а когда она же оказывается и в сарае, ее считают чертом и даже собираются сжечь. Обвиняемым в черном вывороченном тулупе оказывается Каленик. Голова невероятно зол и приказывает не смелым десятским срочно поймать зачинщика, обещая суровую кару в противном случае.

Тем временем, Левко, одетый в черный вывернутый тулуп и испачканный сажей, приходит к тому старому дому около пруда и чувствует, что его одолевает сон. Но глядя на отражение в воде, вдруг замечает, что одно окно будто-бы приотворилось, а ставней нет как не бывало. Но окно собирается снова закрыться и Левка поет песню. Окошко отворяется полностью и в нем показывается молодая панночка, которая со слезами жалуется на то, что ее мачеха сумела избежать наказания. Просит его помочь найти ведьму среди утопленниц, а за это обещает награду. Смотрит Левко на хороводы утопленниц и вроде все они одинаковые – бледные и прозрачные, но потом они начинают играть в ворона и та, которая сама вызвалась быть вороном как-то отличается от остальных. Хватая очередную жертву, в ее глазах отчетливо видна злоба и молодой парубок понимает, что вот она, ведьма. Радостная панночка, смеясь передает ему записку с наказом отдать голове. В этот момент Левко просыпается, но чувствует, что в его руке есть какой-то листок бумаги, но он не грамотен и не может прочитать что там. Сейчас же его настигают десятские с головой и он отдает им записку. Оказывается, что она написана комиссаром Козьмой Дергачом-Дришпановским и помимо всяких хозяйственных поручений, приказывает непременно женить Левку Макогоненка на Ганне Петрыченковой. В ответ на крайнее изумление головы, молодой человек изобретает историю встречи с комиссаром, который, между прочим, якобы собирается заехать к ним на обед. Польщенный такой честью голова говорит, что нагайки сыну все равно не избежать, однако быть завтра же и свадьбе. Счастливый Левко бежит к хате любимой и, видя, что она спит, перекрещивает ее, а потом радостно бежит домой. Тогда как пьяный Каление все еще шатается по деревне в поисках своей хаты.

Женитьба

Служащий надворный советник Подколесин валяется на диване с трубкой и рассуждает о том, что не плохо было бы все же жениться. Зовет своего слугу Степана и спрашивает у него не приходила ли сваха, был ли он у портного, спрашивал ли тот зачем барину такой нарядный фрак? По правде говоря, Подколесин очень ленив и не уверен точно, хочет ли он жениться, но ему хочется, чтобы портной был в восторге от того сукна, из которого он заказал пошив. Поэтому далее он подробно расспрашивает слугу о реакции портного на качество материала. Немножко побеседовали о ваксе. И жених констатирует факт о том, что женитьба – дело хлопотное чрезвычайно.

Приходит сваха – Фекла Ивановна с рассказом о том, насколько хороша невеста – Агафья Тихоновна, купеческая дочка. Говорит, что та хочет замуж исключительно за дворянина, а за купца и не пойдет. Довольный Подколесников просит зайти ее послезавтра, на что сваха парирует, что такими темпами барин скоро будет совсем непригоден для свадьбы.

Прибегает друг жениха Кочкарев и начинает было ругать Феклу за то, что та подсобила ему с женитьбой, но вспоминая, что Подколесин тоже вроде как собирается под венец, замолкает на полуслове и уточнив место жительства невесты, отправляет сваху восвояси, говоря, что теперь сам всем займется. Начинает уговаривать друга жениться, рассказывает как это замечательно, упоминает о детях, говорит об устроенности в жизни. Жених уже вроде и согласен, но сомнения еще есть, поэтому он не готов ехать сейчас, но Кочкарев с руганью таки его увозит.

В доме невесты во время гадания на картах, ее тетка – Арина Пантелеймоновна уговаривает племянницу взглянуть на торговца сукном Алексея Дмитриевича Старикова, но та против: он всего лишь купец, да еще и бородат, а дворянин – это всегда гораздо лучше. Появляется Фекла с отчетом о том, что все ноги себе исходила, но нашла человек шесть разных женихов и начинает рассказывать о каждом из них. Раздается звонок в дверь и Дуняша идет открывать. Заходит Иван Павлович Яичница, экзекутор, перечитывает список приданого и сверяет то, что видит. Затем является Никанор Иванович Анучкин, надеющийся, что невеста говорит по-французски. Они оба – женихи и не афишируют настоящую причину визита. Приходит Балтазар Балтазарович Жевакин, отставной лейтенант морской службы и сразу начинает разговор о Сицилии. Анучкина интересует уровень образования сицилианок и ответ о том, что все они, включая мужиков,

прекрасно изъясняются по-французски, его обескураживает. Яичницу куда больше заботит конституция тела и характер сицилийских мужиков. Потом разговор переключается на всякие странные фамилии, но заканчивается с появлением Кочкарева и Подколесина. Первый так хочет скорее увидеть невесту, что готов подсматривать в замочную скважину, что шокирует Феклу.

Невеста выходит под руку с теткой, женихи называют свое имя. Кочкарев представляется дальним родственником Подколесина и о себе больше ничего не говорить, зато восхваляет последнего на все лады, говоря, что он едва ли не управляющий в департаменте. Является Стариков и заводит обычный учтивый разговор о погодной канцелярии, но более прямолинейный Яичница открытым текстом интересуется у Агафьи Тихоновны, в каком ведомстве должен служить ее муж. Последнюю вопрос смущает и она убегает. Потенциальные супруги несколько озабочены размером носа благоверной и договариваются вечерком зайти «на чашечку чаю». Тем временем, Подколесину невеста не нравится совершенно, но Кочкарев говорит, что тот слеп и глуп, если не видит как она прекрасна. Уговорившись, что тот не сдастся, а довершит начатое, друг жених отправляет по домам женихов.

Сама девушка не решила за кого хочет выйти замуж, анализирует их внешность и собирается кидать жребий. Тут, как черт из табакерки, появляется Кочкарев, говоря, что Подколесин – самая лучшая партия. Учит как правильно отказать всем остальным и бежит к другу. В это время является Яичница, который хочет получить согласие или отказ. За ним же подтягиваются и Жевакин с Анучкиным. Не совладав с собой, она выгоняет их всех и страшась выражения лица Яичницы, убегает сама. Приходит Кочкарев и говорит женихам о глупости невесты, практически отсутствии за ней приданого и совершенном невежестве во французском языке. Уходят все, кроме Подколесина, который вообще не слышал этих слов, поскольку в это время поправлял в прихожей стремешку и Жевакина, который твердо намерен жениться. Кочкарев его выпроваживает, обещая содействие в сватовстве, а невесте про него говорит, что тот идиот и пьяница. Последний это подслушивает и очень удивлен поведением товарища. Сама Агафья с ним беседовать не расположена, и он теряется в догадках о том, с чего бы вдруг семнадцатой по счету невесте отказывать ему.

Кочкарев старается женить своего сопротивляющегося друга изо всех сил, поэтому устраивает Агафье и Подколесину свидание, чтобы они могли поговорить как следует. Но из этого ничего не выходит, жених уходит. Правда, недалеко и

ненадолго, – он вновь возвращен другом, который успел договориться о венчании в церкви через час и заказал ужин. Подколесин ничего не хочет слышать и снова уходит. Кочкарев злится и обзывает его нехорошими словами, отчаянно пытается вернуть.

Невеста сокрушается, что ей еще нет и двадцати семи, а ее уж замуж выдают и параллельно ждет жениха. Последнего приходится запихивать в комнату практически силой, но и это не дает никакого результата, он мямлит что-то невразумительное. Тогда Кочкарев вновь вынужден вмешаться и попросить руки девушки от имени своего бестолкового друга. Они договариваются и невеста идет одеваться. А Подколесин остается наедине со своими мыслями и вроде как хотел бы жениться, но с другой стороны, осознание непоправимости того, что произойдет уже совсем скоро, пугает его настолько сильно, что он решает удариться в бега.

Агафья Тихоновна, Арина Пантелеймоновна, Кочкарев и Фекла важно входят друг за другом, но где жених? Ситуацию проясняет Дуняша, которая все видела. Арина Пантелеймоновна в негодовании, Кочкарев снова отправился догонять друга, а Фекла качает головой, как бы говоря, что ничего у вас, братцы, не выйдет.

Ревизор
Комедия в пяти действиях

Действующие лица

Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, городничий.

Анна Андреевна, жена его.

Марья Антоновна, дочь его.

Лука Лукич Хлопов, смотритель училищ.

Жена его.

Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин, судья.

Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений.

Иван Кузьмич Шпекин, почтмейстер.

Петр Иванович Добчинский, Петр Иванович Бобчинский городские помещики

Иван Александрович Хлестаков, чиновник из Петербурга.

Осип, слуга его.

Христиан Иванович Гибнер, уездный лекарь.

Федор Иванович Люлюков, Иван Лазаревич Растаковский, Степан Иванович Коробкин отставные чиновники, почетные лица в городе.

Степан Ильич Уховертов, частный пристав.

Свистунов

Пуговицын

Держиморда полицейские

Абдулин, купец.

Февронья Петровна Пошлепкина, слесарша.

Жена унтер-офицера.

Мишка, слуга городничего.

Слуга трактирный.

Гости и гостьи, купцы, мещане, просители.

Характеры и костюмы

Замечания для господ актеров

Городничий, уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. Хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно; довольно сурьезен; несколько даже резонер; говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово значительно. Черты лица его грубы и жестки, как у всякого начавшего службу с низших чинов. Переход от страха к радости, от грубости к высокомерию довольно быстр, как у человека с грубо развитыми склонностями души. Он одет, по обыкновению, в своем мундире с петлицами и в ботфортах со шпорами. Волоса на нем стриженые, с проседью.

Анна Андреевна, жена его, провинциальная кокетка, еще не совсем не пожилых лет, воспитанная вполовину на романах и альбомах, вполовину на хлопотах в своей кладовой и девичьей. Очень любопытна и при случае выказывает тщеславие. Берет иногда власть над мужем потому только, что тот не находится, что отвечать ей; но власть эта распространяется только на мелочи и состоит только в выговорах и насмешках. Она четыре раза переодевается в разные платья в продолжение пьесы.

Хлестаков, молодой человек лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове, – один из тех людей которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно. Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет. Одет по моде.

Осип, слуга, таков, как обыкновенно бывают слуги несколько пожилых лет. Говорит сурьезно, смотрит несколько вниз, резонер и любит себе самому читать нравоучения для своего барина. Голос его всегда почти ровен, в разговоре с барином принимает суровое, отрывистое и несколько даже грубое выражение. Он умнее своего барина и потому скорее догадывается, но не любит много говорить и молча плут. Костюм его – серый или поношенный сюртук.

Бобчинский и **Добчинский**, оба низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи друг на друга; оба с небольшими брюшками; оба говорят скороговоркою и

чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немножко выше и сурьезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского.

Ляпкин-Тяпкин, судья, человек, прочитавший пять или шесть книг и потому несколько вольнодумен. Охотник большой на догадки, и потому каждому слову своему дает вес. Представляющий его должен всегда сохранять в лице своем значительную мину. Говорит басом с продолговатой растяжкой, хрипом и сапом – как старинные часы, которые прежде шипят, а потом уже бьют.

Земляника, попечитель богоугодных заведений, очень толстый, неповоротливый и неуклюжий человек, но при всем том проныра и плут. Очень услужлив и суетлив.

Почтмейстер, простодушный до наивности человек.

Прочие роли не требуют особых изъяснений. Оригиналы их всегда почти находятся перед глазами.

Господа актеры особенно должны обратить внимание на последнюю сцену. Последнее произнесенное слово должно произвесть электрическое потрясение на всех разом, вдруг. Вся группа должна переменить положение в один миг ока. Звук изумления должен вырваться у всех женщин разом, как будто из одной груди. От несоблюдения сих замечаний может исчезнуть весь эффект.

Действие первое

Комната в доме городничего

Явление I

Городничий, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, судья, частный пристав, лекарь, два квартальных.

Городничий. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор.

Аммос Федорович. Как ревизор?

Артемий Филиппович. Как ревизор?

Городничий. Ревизор из Петербурга, инкогнито. И еще с секретным предписаньем.

Аммос Федорович. Вот те на!

Артемий Филиппович. Вот не было заботы, так подай!

Лука Лукич. Господи боже! еще и с секретным предписаньем!

Городничий. Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины! пришли, понюхали – и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий Филиппович, знаете. Вот что он пишет: «Любезный друг, кум и благодетель *(бормочет вполголоса, пробегая скоро глазами)* … и уведомить тебя». А! Вот: «Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд *(значительно поднимает палец вверх)*. Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки…» *(остановясь)*, ну, здесь свои… «то советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито… Вчерашнего дня я…» Ну, тут уж пошли дела семейные: «… сестра Анна Кирилловна приехала к нам со своим мужем; Иван Кириллович очень потолстел и все играет на скрыпке…» – и прочее, и прочее. Так вот какое обстоятельство!

Аммос Федорович. Да, обстоятельство такое… необыкновенно, просто необыкновенно. Что-нибудь недаром.

Лука Лукич. Зачем же, Антон Антонович, отчего это? Зачем к нам ревизор?

Городничий. Зачем! Так уж, видно, судьба! *(Вздохнув.)* До сих пор, благодарение богу, подбирались к другим городам; теперь пришла очередь к нашему.

Аммос Федорович. Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит вот что: Россия… да… хочет вести войну, и министерия-то, вот видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены.

Городничий. Эк куда хватили! Еще умный человек! В уездном городе измена! Что он, пограничный, что ли? Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь.

Аммос Федорович. Нет, я вам скажу, вы не того… вы не… Начальство имеет тонкие виды: даром что далеко, а оно себе мотает на ус.

Городничий. Мотает или не мотает, а я вас, господа, предуведомил. Смотрите, по своей части я кое-какие распоряженья сделал, советую я вам. Особенно вам, Артемий Филиппович! Без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения – и потому вы сделайте так, чтобы все было прилично: колпаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему.

Артемий Филиппович. Ну, это еще ничего. Колпаки, пожалуй, можно надеть и чистые.

Городничий. Да, и тоже над каждой кроватью надписать по латыни или на другом языке… Это уже по вашей части, Христиан Иванович, – всякую болезнь: когда кто заболел, которого дня и числа… Нехорошо, что у вас больные такой крепкий табак курят, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если б их было меньше: тотчас отнесут к дурному смотрению или неискусству врача.

Артемий Филиппович. О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, – лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было б с ними изъясняться: он по-русски ни слова не знает.

Христиан Иванович издает звук, отчасти похожий на букву *и* и несколько на *е*.

Городничий. Вам тоже посоветовал бы, Аммос Федорович, обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители, сторожа завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и

шныряют под ногами. Оно, конечно, домашним хозяйством заводиться всякому похвально, и почему ж сторожу и не завесть его? только, знаете, в таком месте неприлично… Я и прежде хотел вам это заметить, но все как-то позабывал.

Аммос Федорович. А вот я их сегодня же велю всех забрать на кухню. Хотите, приходите обедать.

Городничий. Кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь и над самым шкапом с бумагами охотничий арапник. Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его принять, а там, как проедет ревизор, пожалуй, опять его можете повесить. Также заседатель ваш… он, конечно, человек сведущий, но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода, – это тоже нехорошо. Я хотел давно об этом сказать вам, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средства, если уже это действительно, как он говорит, у него природный запах: можно посоветовать ему есть лук, или чеснок, или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович.

Христиан Иванович издает тот же звук.

Аммос Федорович. Нет, этого уже невозможно выгнать: он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою.

Городничий. Да я только так заметил вам. Насчет же внутреннего распоряжения и того, что называет в письме Андрей Иванович грешками, я ничего не могу сказать. Да и странно говорить: нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов. Это уже так самим богом устроено, и волтерианцы напрасно против этого говорят.

Аммос Федорович. Что ж вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам – рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело.

Городничий. Ну, щенками, или чем другим – все взятки.

Аммос Федорович. Ну нет, Антон Антонович. А вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит пятьсот рублей, да супруге шаль…

Городничий. Ну, а что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в бога не веруете; вы в церковь никогда не ходите; а я, по крайней мере, в вере тверд и каждое воскресенье бываю в церкви. А вы… О, я знаю вас: вы если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются.

Аммос Федорович. Да ведь сам собою дошел, собственным умом.

Городничий. Ну, в ином случае много ума хуже, чем бы его

совсем не было. Впрочем, я так только упомянул о уездном суде; а по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь заглянет туда; это уж такое завидное место, сам бог ему покровительствует. А вот вам, Лука Лукич, как смотрителю учебных заведений, нужно позаботиться особенно насчет учителей. Они люди, конечно, ученые и воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо… Не вспомню его фамилию, никак не может обойтись без того, чтобы взошедши на кафедру, не сделать гримасу, вот этак *(делает гримасу)*, и потом начнет рукою из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего: может быть, оно там и нужно так, об этом я не могу судить; но вы посудите сами, если он сделает это посетителю, – это может быть очень худо: господин ревизор или другой кто может принять это на свой счет. Из этого черт знает что может произойти.

Лука Лукич. Что ж мне, право, с ним делать? Я уж несколько раз ему говорил. Вот еще на днях, когда зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видывал. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор: зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству.

Городничий. То же я должен вам заметить и об учителе по исторической части. Он ученая голова – это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его: ну покамест говорил об ассириянах и вавилонянах – еще ничего, а как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу! Сбежал с кафедры и что есть силы хвать стулом об пол. Оно конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? от этого убыток казне.

Лука Лукич. Да, он горяч! Я ему это несколько раз уже замечал… Говорит: «Как хотите, для науки я жизни не пощажу».

Городничий. Да, таков уже неизъяснимый закон судеб: умный человек либо пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси.

Лука Лукич. Не приведи господь служить по ученой части! Всего боишься: всякий мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек.

Городничий. Это бы еще ничего, – инкогнито проклятое! Вдруг заглянет: «А, вы здесь, голубчики! А кто, скажет, здесь судья?» – «Ляпкин-Тяпкин». – «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина! А кто попечитель богоугодных заведений?» – «Земляника». «А подать сюда Землянику!» Вот что худо!

Явление II

Те же и почтмейстер.

Почтмейстер. Объясните, господа, что, какой чиновник едет?

Городничий. А вы разве не слышали?

Почтмейстер. Слышал от Петра Ивановича Бобчинского. Он только что был у меня в почтовой конторе.

Городничий. Ну, что? Как вы думаете об этом?

Почтмейстер. А что думаю? война с турками будет.

Аммос Федорович. В одно слово! я сам то же думал.

Городничий. Да, оба пальцем в небо попали!

Почтмейстер. Право, война с турками. Это все француз гадит.

Городничий. Какая война с турками! Просто нам плохо будет, а не туркам. Это уже известно: у меня письмо.

Почтмейстер. А если так, то не будет войны с турками.

Городничий. Ну что же вы, как вы, Иван Кузьмич?

Почтмейстер. Да что я? Как вы, Антон Антонович?

Городничий. Да что я? Страху-то нет, а так, немножко… Купечество да гражданство меня смущает. Говорят, что я им солоно пришелся, а я, вот ей-богу, если и взял с иного, то, право, без всякой ненависти. Я даже думаю *(берет его под руку и отводит в сторону)*, я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доноса. Зачем же в самом деле к нам ревизор? Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам, для общей нашей пользы, всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, этак немножко распечатать и прочитать: не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или просто переписки. Если же нет, то можно опять запечатать; впрочем, можно даже и так отдать письмо, распечатанное.

Почтмейстер. Знаю, знаю… Этому не учите, это я делаю не то чтоб из предосторожности, а больше из любопытства: смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это преинтересное чтение. Иное письмо с наслажденьем прочтешь – так описываются разные пассажи… а назидательность какая… лучше, чем в «Московских ведомостях»!

Городничий. Ну что ж, скажите, ничего не начитывали о каком-нибудь чиновнике из Петербурга?

Почтмейстер. Нет, о петербургском ничего нет, а о костромских и саратовских много говорится. Жаль, однако ж, что вы не читаете писем: есть прекрасные места. Вот недавно один поручик пишет к приятелю и описал бал в самом игривом… очень, очень хорошо: «Жизнь моя, милый друг, течет, говорит в

эмпиреях: барышень много, музыка играет, штандарт скачет…» – с большим, с большим чувством описал. Я нарочно оставил его у себя. Хотите, прочту?

Городничий. Ну, теперь не до того. Так сделайте милость, Иван Кузьмич: если на случай попадется жалоба или донесение, то без всяких рассуждений задерживайте.

Почтмейстер. С большим удовольствием.

Аммос Федорович. Смотрите, достанется вам когда-нибудь за это.

Почтмейстер. Ах, батюшки!

Городничий. Ничего, ничего. Другое дело, если бы вы из этого публичное что-нибудь сделали, но ведь это дело семейственное.

Аммос Федорович. Да, нехорошее дело заварилось! А я, признаюсь, шел было к вам, Антон Антонович, с тем чтобы попотчевать вас собачонкою. Родная сестра тому кобелю, которого вы знаете. Ведь вы слышали, что Чептович с Варховинским затеяли тяжбу, и теперь мне роскошь: травлю зайцев на землях и у того и другого.

Городничий. Батюшки, не милы мне теперь ваши зайцы: у меня инкогнито проклятое сидит в голове. Так и ждешь, что вот отворится дверь и – шасть…

Явление III

Те же, Бобчинский и ***Добчинский***, оба входят, запыхавшись.

Бобчинский. Чрезвычайное происшествие!

Добчинский. Неожиданное известие!

Все. Что, что такое?

Добчинский. Непредвиденное дело: приходим в гостиницу…

Бобчинский*(перебивая)*. Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу…

Добчинский*(перебивая)*. Э, позвольте, Петр Иванович, я расскажу.

Бобчинский. Э, нет, позвольте уж я… позвольте, позвольте… вы уж и слога такого не имеете…

Добчинский. А вы собьетесь и не припомните всего.

Бобчинский. Припомню, ей-богу, припомню. Уж не мешайте, пусть я расскажу, не мешайте! Скажите, господа, сделайте милость, чтоб Петр Иванович не мешал.

Городничий. Да говорите, ради бога, что такое? У меня сердце не на месте. Садитесь, господа! Возьмите стулья! Петр Иванович, вот вам стул.

Все усаживаются вокруг обоих Петров Ивановичей.

Ну, что, что такое?

Бобчинский. Позвольте, позвольте: я все по порядку. Как только имел удовольствие выйти от вас после того, как вы изволили смутиться полученным письмом, да-с, – так я тогда же забежал… уж, пожалуйста, не перебивайте, Петр Иванович! Уж все, все, все знаю-с. Так я, изволите видеть, забежал к Коробкину. А не заставши Коробкина-то дома, заворотил к Растаковскому, а не заставши Растаковского, зашел вот к Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вами новость, да, идучи оттуда, встретился с Петром Ивановичем…

Добчинский*(перебивая)*. Возле будки, где продаются пироги.

Бобчинский. Возле будки, где продаются пироги. Да, встретившись с Петром Ивановичем, и говорю ему: «Слышали ли вы о новости-та, которую получил Антон Антонович из достоверного письма?» А Петр Иванович уж услыхали об этом от ключницы вашей Авдотьи, которая, не знаю, за чем-то была послана к Филиппу Антоновичу Почечуеву.

Добчинский*(перебивая)*. За бочонком для французской водки.

Бобчинский*(отводя его руки)*. За бочонком для французской водки. Вот мы пошли с Петром-то Ивановичем к Почечуеву… Уж вы, Петр Иванович… энтого… не перебивайте, пожалуйста, не перебивайте!.. Пошли к Почечуеву, да на дороге Петр Иванович говорит: «Зайдем, говорит, в трактир. В Желудке-то у меня… с утра я ничего не ел, так желудочное трясение…» – да-с, в желудке-то у Петра Ивановича… «А в трактир, говорит, привезли теперь свежей семги, так мы закусим». Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек…

Добчинский*(перебивая)*. Недурной наружности, в партикулярном платье…

Бобчинский. Недурной наружности, в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в лице этакое рассуждение… физиономия… поступки, и здесь *(вертит рукою около лба)* много, много всего. Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: «Здесь что-нибудь неспроста-с». Да. А Петр-то Иванович уж мигнул пальцем и подозвали трактирщика-с, трактирщика Власа: у него жена три недели назад тому родила, и такой пребойкий мальчик, будет так же, как и отец, содержать трактир. Подозвавши Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку: «Кто, говорит, этот молодой человек?» – а Влас и отвечает на это: «Это», – говорит… Э, не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста, не перебивайте; вы не расскажете, ей-богу не расскажете: вы пришепетываете; у вас, я знаю, один зуб во рту со свистом… «Это,

говорит, молодой человек, чиновник, – да-с, – едущий из Петербурга, а по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаков-с, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и, говорит, престранно себя аттестует: другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и не копейки не хочет платить». Как сказал он мне это, а меня так вот свыше и вразумило. «Э!» – говорю я Петру Ивановичу…

Добчинский. Нет, Петр Иванович, это я сказал: «э!»

Бобчинский. Сначала вы сказали, а потом и я сказал. «Э! – сказали мы с Петром Ивановичем. – А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию?» Да-с. А вот он-то и есть этот чиновник.

Городничий. Кто, какой чиновник?

Бобчинский. Чиновник-та, о котором изволили получили нотицию, – ревизор.

Городничий*(в страхе)*. Что вы, господь с вами! это не он.

Добчинский. Он! и денег не платит и не едет. Кому же б быть, как не ему? И подорожная прописана в Саратов.

Бобчинский. Он, он, ей-богу он… Такой наблюдательный: все обсмотрел. Увидел, что мы с Петром-то Ивановичем ели семгу, – больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка… да, так он и в тарелки к нам заглянул. Меня так и проняло страхом.

Городничий. Господи, помилуй нас, грешных! Где же он там живет?

Добчинский. В пятом номере, под лестницей.

Бобчинский. В том самом номере, где прошлого года подрались приезжие офицеры.

Городничий. И давно он здесь?

Добчинский. А недели две уж. Приехал на Василья Египтянина.

Городничий. Две недели! *(В сторону.)* Батюшки, сватушки! Выносите, святые угодники! В эти две недели высечена унтер-офицерская жена! Арестантам не выдавали провизии! На улицах кабак, нечистота! Позор! поношенье! *(Хватается за голову.)*

Артемий Филиппович. Что ж, Антон Антонович? – ехать парадом в гостиницу.

Аммос Федорович. Нет, нет! Вперед пустить голову, духовенство, купечество; вот и в книге «Деяния Иоанна Масона»…

Городничий. Нет, нет; позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще даже и спасибо получал. Авось бог вынесет и теперь. *(Обращаясь к Бобчинскому.)* Вы говорите, он молодой человек?

Бобчинский. Молодой, лет двадцати трех или четырех с

небольшим.

Городничий. Тем лучше: молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой весь наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам или вот хоть с Петром Ивановичем, приватно, для прогулки, наведаться, не терпят ли проезжающие неприятностей. Эй, Свистунов!

Свистунов. Что угодно?

Городничий. Ступай сейчас за частным приставом; или нет, ты мне нужен. Скажи там кому-нибудь, чтобы как можно поскорее ко мне частного пристава, и приходи сюда.

Квартальный бежит впопыхах.

Артемий Филиппович. Идем, идем, Аммос Федорович! В самом деле может случиться беда.

Аммос Федорович. Да вам чего бояться? Колпаки чистые надел на больных, да и концы в воду.

Артемий Филиппович. Какое колпаки! Больным велено габерсуп давать, а у меня по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос.

Аммос Федорович. А я на этот счет покоен. В самом деле, кто зайдет в уездный суд? А если и заглянет в какую-нибудь бумагу, так он жизни не будет рад. Я вот уж пятнадцать лет сижу на судейском стуле, а как загляну в докладную записку – а! только рукой махну. Сам Соломон не разрешит, что в ней правда и что неправда.

Судья, **попечитель богоугодных заведений**, смотритель училищ и **почтмейстер** уходят и в дверях сталкиваются с возвращающимся **квартальным**.

Явление IV

Городничий, Бобчинский, Добчинский и квартальный.

Городничий. Что, дрожки там стоят?

Квартальный. Стоят.

Городничий. Ступай на улицу… или нет, постой! Ступай принеси… Да другие-то где? неужели ты только один? Ведь я приказывал, чтобы и Прохоров был здесь. Где Прохоров?

Квартальный. Прохоров в частном доме, да только к делу не может быть употреблен.

Городничий. Как так?

Квартальный. Да так: привезли его поутру мертвецки. Вот уже два ушата воды вылили, до сих пор не протрезвился.

Городничий*(хватаясь за голову)*. Ах, боже мой, боже мой! Ступай скорее на улицу, или нет – беги прежде в комнату, слышь!

и принеси оттуда шпагу и новую шляпу. Ну, Петр Иванович, поедем!

Бобчинский. И я, и я… позвольте и мне, Антон Антонович!

Городничий. Нет, нет, Петр Иванович, нельзя, нельзя! Неловко, да и на дрожках не поместимся.

Бобчинский. Ничего, ничего, я так: петушком, петушком побегу за дрожками. Мне бы только немножко в щелочку-та, в дверь этак посмотреть, как у него эти поступки…

Городничий*(принимая шпагу, к квартальному)*. Беги сейчас возьми десятских, да пусть каждый из них возьмет… Эк шпага как исцарапалась! Проклятый купчишка Абдулин – видит, что у городничего старая шпага, не прислал новой. О, лукавый народ! А так, мошенники, я думаю, там уж просьбы из-под полы и готовят. Пусть каждый возьмет в руки по улице… черт возьми, по улице – по метле! и вымели бы всю улицу, что идет к трактиру, и вымели бы чисто… Слышишь! Да смотри: ты! ты! я знаю тебя: ты там кумаешься да крадешь в ботфорты серебряные ложечки, – смотри, у меня ухо востро!.. Что ты сделал с купцом Черняевым – а? Он тебе на мундир дал два аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри! не по чину берешь! Ступай!

Явление V

Те же и ***частный пристав.***

Городничий. А, Степан Ильич! Скажите, ради бога: куда вы запропастились? На что это похоже?

Частный пристав. Я был тут сейчас за воротами.

Городничий. Ну, слушайте же, Степан Ильич. Чиновник-то из Петербурга приехал. Как вы там распорядились?

Частный пристав. Да так, как вы приказывали. Квартального Пуговицына я послал с десятскими подчищать тротуар.

Городничий. А Держиморда где?

Частный пристав. Держиморда поехал на пожарной трубе.

Городничий. А Прохоров пьян?

Частный пристав. Пьян.

Городничий. Как же вы это допустили?

Частный пристав. Да бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка, – поехал туда для порядка, а возвратился пьян.

Городничий. Послушайте ж, вы сделайте вот что: квартальный Пуговицын… он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, чтоб было

похоже на планирование. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя. Ах, боже мой! я и позабыл, что возле того забора навалено на сорок телег всякого сору. Что это за скверный город! только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор – черт их знает откудова и нанесут всякой дряни! *(Вздыхает.)* Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу: довольны ли? – чтобы говорили: «Всем довольны, ваше благородие»; а который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия… О, ох, хо, хо, х! грешен, во многом грешен. *(Берет вместо шляпы футляр.)* Дай только, боже, чтобы сошло с рук поскорее, а там-то я поставлю уж такую свечу, какой еще никто не ставил: на каждую бестию купца наложу доставить по три пуда воску. О боже мой, боже мой! Едем, Петр Иванович! *(Вместо шляпы хочет надеть бумажный футляр.)*

Частный пристав. Антон Антонович, это коробка, а не шляпа.

Городничий*(бросая коробку)*. Коробка так коробка. Черт с ней! Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую год назад была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она и не начиналась. Да сказать Держиморде, чтобы не слишком давал воли кулакам своим; он, для порядка, всем ставит фонари под глазами – и правому, и виноватому. Едем, едем, Петр Иванович! *(Уходит и возвращается.)* Да не выпускать солдат на улицу безо всего: эта дрянная гарниза наденет только сверх рубашки мундир, а внизу ничего нет.

Все уходят.

Явление VI

Анна Андреевна *и* ***Марья Антоновна*** *вбегают на сцену.*

Анна Андреевна. Где ж, где ж они? Ах, боже мой!.. *(Отворяя дверь.)* Муж! Антоша! Антон! *(Говорит скоро.)* А все ты, а все за тобой. И пошла копаться: «Я булавочку, я косынку». *(Подбегает к окну и кричит.)* Антон, куда, куда? Что, приехал? ревизор? с усами! с какими усами?

Голос городничего. После, после, матушка!

Анна Андреевна. После? Вот новости – после! Я не хочу после… Мне только одно слово: что он, полковник? А? *(С пренебрежением.)* Уехал! Я тебе вспомню это! А все эта:

«Маменька, маменька, погодите, зашпилю сзади косынку; я сейчас». Вот тебе и сейчас! Вот тебе ничего и не узнали! А все проклятое кокетство; услышала, что почтмейстер здесь, и давай пред зеркалом жеманиться: и с той стороны, и с этой стороны подойдет. Воображает, что он за ней волочится, а он просто тебе делает гримасу, когда ты отвернешься.

Марья Антоновна. Да что ж делать, маменька? Все равно чрез два часа мы все узнаем.

Анна Андреевна. Чрез два часа! покорнейше благодарю. Вот одолжила ответом! Как ты не догадалась сказать, что чрез месяц еще лучше можно узнать! *(Свешивается в окно.)* Эй, Авдотья! А? Что, Авдотья, ты слышала, там приехал кто-то?.. Не слышала? Глупая какая! Машет руками? Пусть машет, а ты бы все-таки его расспросила. Не могла этого узнать! В голове чепуха, все женихи сидят. А? Скоро уехали! да ты бы побежала за дрожками. Ступай, ступай сейчас! Слышишь, побеги расспроси, куда поехали; да расспроси хорошенько, что за приезжий, каков он, – слышишь? Подсмотри в щелку и узнай все, и глаза какие: черные или нет, и сию же минуту возвращайся назад, слышишь? Скорее, скорее, скорее, скорее! *(Кричит до тех пор, пока не опускается занавес. Так занавес и закрывает их обеих, стоящих у окна.)*

Действие второе

Маленькая комната в гостинице. Постель, стол, чемодан, пустая бутылка, сапоги, платяная щетка и прочее.

Явление I

***Осип** лежит на барской постели.*

Черт побери, есть так хочется и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы. Вот не доедем, да и только, домой! Что ты прикажешь делать? Второй месяц пошел, как уже из Питера! Профинтил дорогой денежки, голубчик, теперь сидит и хвост подвернул и не горячится. А стало бы, и очень бы стало на прогоны; нет, вишь ты, нужно в каждом городе показать себя! *(Дразнит его.)* «Эй, Осип, ступай посмотри комнату, лучшую, да обед спроси самый лучший: я не могу есть дурного обеда, мне нужен лучший обед». Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то ведь елистратишка простой! С проезжающим знакомится, а потом в картишки – вот тебе и доигрался! Эх, надоела такая жизнь! Право, на деревне лучше: оно хоть нет публичности, да и заботности меньше; возьмешь себе бабу, да и лежи весь век на полатях да ешь пироги. Ну, кто ж спорит: конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего. Деньги бы только были, а жизнь тонкая и политичная: кеятры, собаки тебе танцуют, и все что хочешь. Разговаривает все на тонкой деликатности, что разве только дворянству уступит; пойдешь на Щукин – купцы тебе кричат: «Почтенный!»; на перевозе в лодке с чиновником сядешь; компании захотел – ступай в лавочку: там тебе кавалер расскажет про лагери и объявит, что всякая звезда значит на небе, так вот как на ладони все видишь. Старуха офицерша забредет; горничная иной раз заглянет такая… фу, фу, фу! *(Усмехается и трясет головою.)* Галантерейное, черт возьми, обхождение! Невежливого слова никогда не услышишь, всякой говорит тебе «вы». Наскучило идти – берешь себе извозчика и сидишь себе как барин, а не захочешь заплатить ему – изволь: у каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнешь, что тебя никакой дьявол не сыщет. Одно плохо: иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голоду, как теперь, например. А все он виноват. Что с ним сделаешь? Батюшка пришлет денежки, чем бы их попридержать – и куды!.. пошел кутить: ездит на извозчике, каждый день ты доставай в кеятр билет, а там через неделю,

глядь – и посылает на толкучий продавать новый фрак. Иной раз все до последней рубашки спустит, так что на нем всего останется сертучишка да шинелишка… Ей-богу, правда! И сукно такое важное, аглицкое! рублев полтораста ему один фрак станет, а на рынке спустит рублей за двадцать; а о брюках и говорить нечего – нипочем идут. А отчего? – оттого, что делом не занимается: вместо того чтобы в должность, а он идет гулять по прешпекту, в картишки играет. Эх, если б узнал это старый барин! Он не посмотрел бы на то, что ты чиновник, а, поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, что б дня четыре ты почесывался. Коли служить, так служи. Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее; ну, а коли не заплатим? *(Со вздохом.)* Ах, боже ты мой, хоть бы какие-нибудь щи! Кажись, так бы теперь весь свет съел. Стучится; верно, это он идет. *(Поспешно схватывается с постели.)*

Явление II

Осип *и* ***Хлестаков****.*

Хлестаков. На, прими это. *(Отдает фуражку и тросточку.)* А, опять валялся на кровати?

Осип. Да зачем же бы мне валяться? Не видал я разве кровати, что ли?

Хлестаков. Врешь, валялся; видишь, вся склочена.

Осип. Да на что мне она? Не знаю я разве, что такое кровать? У меня есть ноги; я и постою. Зачем мне ваша кровать?

Хлестаков*(ходит по комнате)*. Посмотри, там в картузе табаку нет?

Осип. Да где ж ему быть, табаку? Вы четвертого дня последнее выкурили.

Хлестаков*(ходит и разнообразно сжимает свои губы; наконец говорит громким и решительным голосом)*. Послушай… эй, Осип!

Осип. Чего изволите?

Хлестаков*(громким, но не столь решительным голосом)*. Ты ступай туда.

Осип. Куда?

Хлестаков*(голосом вовсе не решительным и не громким, очень близким к просьбе)*. Вниз, в буфет… Там скажи… чтобы мне дали пообедать.

Осип. Да нет, я и ходить не хочу.

Хлестаков. Как ты смеешь, дурак!

Осип. Да так; все равно, хоть и пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что больше не даст обедать.

Хлестаков. Как он смеет не дать? Вот еще вздор!

Осип. «Еще, говорит, и к городничему пойду; третью неделю барин денег не плотит. Вы-де с барином, говорит, мошенники, и барин твой – плут. Мы-де, говорят, этаких шерамыжников и подлецов видали».

Хлестаков. А ты уж и рад, скотина, сейчас пересказывать мне все это.

Осип. Говорит: «Этак всякий придет, обживется, задолжается, после и выгнать нельзя. Я, говорит, шутить не буду, я прямо с жалобой, чтоб на съезжую да в тюрьму».

Хлестаков. Ну, ну, дурак, полно! Ступай, ступай скажи ему. Такое грубое животное!

Осип. Да лучше я самого хозяина позову к вам.

Хлестаков. На что ж хозяина? Ты поди сам скажи.

Осип. Да, право, сударь…

Хлестаков. Ну, ступай, черт с тобой! позови хозяина.

Осип уходит.

Явление III

***Хлестаков** один.*

Ужасно как хочется есть! Так немножко прошелся, думал, не пройдет ли аппетит, – нет, черт возьми, не проходит, Да, если б в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня: штосы удивительно, бестия, срезывает. Всего каких-нибудь четверть часа посидел – и все обобрал. А при всем том страх хотелось бы с ним еще раз сразиться. Случай только не привел. Какой скверный городишко! В овошенных лавках ничего не дают в долг. Это уж просто подло. *(Насвистывает сначала из «Роберта», потом «Не шей ты мне матушка», а наконец ни се ни то.)* Никто не хочет идти.

Явление IV

***Хлестаков, Осип** и **трактирный слуга**.*

Слуга. Хозяин приказал спросить, что вам угодно?

Хлестаков. Здравствуй, братец! Ну, что ты, здоров?

Слуга. Слава богу.

Хлестаков. Ну, что, как у вас в гостинице? хорошо ли все идет?

Слуга. Да, слава богу, все хорошо.

Хлестаков. Много проезжающих?

Слуга. Да, достаточно.

Хлестаков. Послушай, любезный, там мне до сих пор обеда не приносят, так, пожалуйста, поторопи, чтоб поскорее, – видишь мне сейчас после обеда нужно кое-чем заняться.

Слуга. Да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Он, никак, хотел идти сегодня жаловаться городничему.

Хлестаков. Да что ж жаловаться? Посуди сам, любезный, как же? ведь мне нужно есть. Этак я могу совсем отощать. Мне очень есть хочется; я не шутя это говорю.

Слуга. Так-с. Он говорил: «Я ему обедать не дам, покамест он не заплатит мне за прежнее». Таков уж ответ его был.

Хлестаков. Да ты урезонь, уговори его.

Слуга. Да что ж ему такое говорить?

Хлестаков. Ты растолкуй ему сурьезно, что мне нужно есть. Деньги сами собою… Он, думает, что, как ему, мужику, ничего, если не поесть день, так и другим тоже. Вот новости!

Слуга. Пожалуй, я скажу.

Явление V

Хлестаков *один.*

Это скверно, однако ж, если он совсем ничего не даст есть. Так хочется, как еще никогда не хотелось. Разве из платья что-нибудь пустить в оборот? Штаны, что ли, продать? Нет, уж лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме. Жаль, что Иохим не дал напрокат кареты, а хорошо бы, черт побери, приехать домой в карете, подкатить этаким чертом к какому-нибудь соседу-помещику под крыльцо, с фонарями, а Осипа сзади, одеть в ливрею. Как бы, я воображаю, все переполошились: «Кто такой, что такое?» А лакей входит (вытягивается и представляя лакея): «Иван Александрович Хлестаков из Петербурга, прикажете принять?» Они, пентюхи, и не знают, что такое значит «прикажете принять». К ним если приедет какой-нибудь гусь помещик, так и валит, медведь, прямо в гостиную. К дочечке какой-нибудь хорошенькой подойдешь: «Сударыня, как я…» *(Потирает руки и подшаркивает ножкой.)* Тьфу! *(плюет)* даже тошнит, так есть хочется.

Явление VI

Хлестаков, Осип*, потом* ***слуга****.*

Хлестаков. А что?

Осип. Несут обед.

Хлестаков*(прихлопывает в ладоши и слегка подпрыгивает на стуле)*. Несут! несут! несут!

Слуга*(с тарелками и салфеткой)*. Хозяин в последний раз уж дает.

Хлестаков. Ну, хозяин, хозяин… Я плевать на твоего хозяина! Что там такое?

Слуга. Суп и жаркое.

Хлестаков. Как, только два блюда?

Слуга. Только-с.

Хлестаков. Вот вздор какой! я этого не принимаю. Ты скажи ему: что это, в самом деле, такое!.. Этого мало.

Слуга. Нет, хозяин говорит, что еще много.

Хлестаков. А соуса почем нет?

Слуга. Соуса нет.

Хлестаков. Отчего же нет? Я видел сам, проходя мимо кухни, там много готовилось. И в столовой сегодня поутру два каких-то коротеньких человека ели семгу и еще много кой-чего.

Слуга. Да оно-то есть, пожалуй, да нет.

Хлестаков. Как нет?

Слуга. Да уж нет.

Хлестаков. А семга, а рыба, а котлеты?

Слуга. Да это для тех, которые почище-с.

Хлестаков. Ах ты, дурак!

Слуга. Да-с.

Хлестаков. Поросенок ты скверный… Как же они едят, а я не ем? Отчего же я, черт возьми, не могу так же? Разве они не такие же проезжающие, как и я?

Слуга. Да уж известно, что не такие.

Хлестаков. Какие же?

Слуга. Обнакновенно какие! они уж известно: они деньги платят.

Хлестаков. Я с тобою, дурак, не хочу рассуждать. *(Наливает суп и ест.)* Что это за суп? Ты просто воды налил в чашку: никакого вкусу нет, только воняет. Я не хочу этого супу, дай мне другого.

Слуга. Мы примем-с. Хозяин сказал: коли не хотите, то и не нужно.

Хлестаков*(защищая рукой кушанье)*. Ну, ну, ну… оставь, дурак! Ты привык там обращаться с другими: я, брат, не такого рода! со мной не советую… *(Ест.)* Боже мой, какой суп! *(Продолжает есть.)* Я думаю, еще ни один человек в мире не едал такого супу: какие-то перья плавают вместо масла. *(Режет курицу.)* Ай, ай, ай, какая курица! Дай жаркое! Там супу немного

осталось, Осип, возьми себе. *(Режет жаркое.)* Что это за жаркое? Это не жаркое.

Слуга. Да что ж такое?

Хлестаков. Черт его знает, что это такое, только не жаркое. Это топор, зажаренный вместо говядины. *(Ест.)* Мошенники, канальи, чем они кормят! И челюсти заболят, если съешь один такой кусок. *(Ковыряет пальцем в зубах.)* Подлецы! Совершенно как деревянная кора, ничем вытащить нельзя; и зубы почернеют после этих блюд. Мошенники! *(Вытирает рот салфеткой.)* Больше ничего нет?

Слуга. Нет.

Хлестаков. Каналья! подлецы! и даже хотя бы какой-нибудь соус или пирожное. Бездельники! дерут только с проезжающих.

Слуга убирает и уносит тарелки вместе с Осипом.

Явление VII

Хлестаков**, потом **Осип.

Хлестаков. Право, как будто бы и не ел; только что разохотился. Если бы мелочь, послать бы на рынок и купить хоть бы сайку.

Осип*(входит)*. Там зачем-то городничий приехал, осведомляется и спрашивает о вас.

Хлестаков*(испугавшись)*. Вот тебе на! Экая бестия трактирщик, успел уже пожаловаться! Что, если он в самом деле потащит меня в тюрьму? Что ж если благородным образом, я, пожалуй… нет, нет, не хочу! Там в городе таскаются офицеры и народ, а я, как нарочно, задал тону и перемигнулся с одной купеческой дочкой… Нет, не хочу… Да что он, как он смеет в самом деле? Что я ему, разве купец или ремесленник? *(Бодрится и выпрямливается.)* Да я ему прямо скажу: «Как вы смеете, как вы…» *(У дверей вертится ручка; Хлестаков бледнеет и съеживается.)*

Явление VIII

***Хлестаков**, **городничий** и **Добчинский**. **Городничий**, вошед, останавливается. Оба в испуге смотрят несколько минут один на другого, выпучив глаза.*

Городничий*(немного оправившись и протянув руки по швам)*. Желаю здравствовать!

Хлестаков*(кланяется)*. Мое почтение…

Городничий. Извините.

Хлестаков. Ничего…

Городничий. Обязанность моя, как градоначальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений…

Хлестаков*(сначала немного заикается, но к концу речи говорит громко)*. Да что ж делать? Я не виноват… Я, право, заплачу… Мне пришлют из деревни.

***Бобчинский** выглядывает из дверей.*

Он больше виноват: говядину мне подает такую твердую, как бревно; а суп – он черт знает чего плеснул туда, я должен был выбросить его за окно. Он меня морит голодом по целым дням… Чай такой странный, воняет рыбой, а не чаем. За что ж я… Вот новость!

Городничий*(робея)*. Извините, я, право, не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы, люди трезвые и поведения хорошего. Я уж не знаю, откуда он берет такую. А если что не так, то… Позвольте мне предложить вам переехать со мною на другую квартиру.

Хлестаков. Нет, не хочу! Я знаю, что значит на другую квартиру: то есть в тюрьму. Да какое вы имеете право? Да как вы смеете?.. Да вот я… Я служу в Петербурге. *(Бодрится.)* Я, я, я…

Городничий*(в сторону)*. О господи ты боже, какой сердитый! Все узнал, все рассказали проклятые купцы!

Хлестаков*(храбрясь)*. Да вот вы хоть тут со всей своей командой – не пойду! Я прямо к министру! *(Стучит кулаком по столу.)* Что вы? Что вы?

Городничий*(вытянувшись и дрожа всем телом)*. Помилуйте, не погубите! Жена, дети маленькие… не сделайте несчастным человека.

Хлестаков. Нет, я не хочу! Вот еще? мне какое дело? Оттого, что у вас жена и дети, я должен идти в тюрьму, вот прекрасно!

***Бобчинский** выглядывает в дверь и в испуге прячется.*

Нет, благодарю покорно, не хочу.

Городничий*(дрожа)*. По неопытности, ей-богу по неопытности. Недостаточность состояния… Сами извольте посудить: казенного жалованья не хватает даже на чай и сахар. Если ж и были какие взятки, то самая малость: к столу что-нибудь да на пару платья. Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета, ей-богу клевета. Это выдумали злодеи мои; это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься.

Хлестаков. Да что? мне нет никакого дела до них. *(В размышлении.)* Я не знаю, однако ж, зачем вы говорите о злодеях

или о какой-то унтер-офицерской вдове… Унтер-офицерская жена совсем другое, а меня вы не смеете высечь, до этого вам далеко… Вот еще! смотри ты какой!.. Я заплачу, заплачу деньги, но у меня теперь нет. Я потому и сижу здесь, что у меня нет ни копейки.

Городничий*(в сторону)*. О, тонкая штука! Эк куда метнул! какого туману напустил! разбери кто хочет! Не знаешь, с какой стороны и приняться. Ну да уж попробовать не куды пошло! Что будет, то будет, попробовать на авось. *(Вслух.)* Если вы точно имеет нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить свою минуту. Моя обязанность помогать проезжающим.

Хлестаков. Дайте, дайте мне взаймы! Я сейчас же расплачусь с трактирщиком. Мне бы только рублей двести или хоть даже и меньше.

Городничий*(поднося бумажки)*. Ровно двести рублей, хоть и не трудитесь считать.

Хлестаков*(принимая деньги)*. Покорнейше благодарю. Я вам тотчас пришлю их из деревни… у меня это вдруг… Я вижу, вы благородный человек. Теперь другое дело.

Городничий*(в сторону)*. Ну, слава богу! деньги взял. Дело, кажется, пойдет теперь на лад. Я таки ему вместо двухсот четыреста ввернул.

Хлестаков. Эй, Осип!

***Осип** входит.*

Позови сюда трактирного слугу! *(К городничему и Добчинскому.)* А что же вы стоите? Сделайте милость, садитесь. *(Добчинскому.)* Садитесь, прошу покорнейше.

Городничий. Ничего, мы и так постоим.

Хлестаков. Сделайте милость, садитесь. Я теперь вижу совершенно откровенность вашего нрава и радушие, а то, признаюсь, я уж думал, что вы пришли с тем, чтобы меня… *(Добчинскому.)* Садитесь.

***Городничий** и **Добчинский** садятся. **Бобчинский** выглядывает в дверь и прислушивается.*

Городничий*(в сторону)*. Нужно быть посмелее. Он хочет, чтобы считали его инкогнитом. Хорошо, подпустим и мы турусы; прикинемся, как будто совсем и не знаем, что он за человек. *(Вслух.)* Мы, прохаживаясь по делам должности, вот с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие, потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет; но я, кроме должности, еще и по христианскому человеколюбию хочу, чтобы всякому смертному оказывался хороший прием, – и вот, как будто в награду, случай доставил такое приятное знакомство.

Хлестаков. Я тоже сам очень рад. Без вас я, признаюсь, долго бы просидел здесь: совсем не знал, чем заплатить.

Городничий*(в сторону)*. Да, рассказывай, не знал, чем заплатить? *(Вслух.)* Осмелюсь ли спросить: куда и в какие места ехать изволите?

Хлестаков. Я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню.

Городничий*(в сторону, с лицом, принимающим ироническое выражение)*. В Саратовскую губернию! А? и не покраснеет! О, да с ним нужно ухо востро. *(Вслух.)* Благое дело изволили предпринять. Ведь вот относительно дороги: говорят, с одной стороны, неприятности насчет задержки лошадей, а ведь, с другой стороны, развлеченье для ума. Ведь вы, чай, больше для собственного удовольствия едете?

Хлестаков. Нет, батюшка меня требует. Рассердился старик, что до сих пор ничего не выслужил в Петербурге. Он думает, что так вот приехал да сейчас тебе Владимира в петлицу и дадут. Нет, я бы послал его самого потолкаться в канцелярию.

Городничий*(в сторону)*. Прошу посмотреть, какие пули отливает! и старика отца приплел! *(Вслух.)* И на долгое время изволите ехать?

Хлестаков. Право, не знаю. Ведь мой отец упрям и глуп, старый хрен, как бревно. Я ему прямо скажу: как хотите, я не могу жить без Петербурга. За что ж, в самом деле, я должен погубить жизнь с мужиками? Теперь не те потребности, душа моя жаждет просвещения.

Городничий*(в сторону)*. Славно завязал узелок! Врет, врет – и нигде не оборвется! А ведь какой невзрачный, низенький, кажется, ногтем бы придавил его. Ну, да, постой, ты у меня проговоришься. Я тебя уж заставлю побольше рассказать! *(Вслух.)* Справедливо изволили заметить. Что можно сделать в глуши? Ведь вот хоть бы здесь: ночь не спишь, стараешься для отечества, не жалеешь ничего, а награда неизвестно еще когда будет. *(Окидывает глазами комнату.)* Кажется, эта комната несколько сыра?

Хлестаков. Скверная комната, и клопы такие, каких я нигде не видывал: как собаки кусают.

Городничий. Скажите! такой просвещенный гость, и терпит – от кого же? – от каких-нибудь негодных клопов, которым бы и на свет не следовало родиться. Никак, даже темно в этой комнате?

Хлестаков. Да, совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда что-нибудь хочется сделать, почитать или придет фантазия сочинить что-нибудь, – не могу: темно, темно.

Городничий. Осмелюсь ли просить вас… но нет, я недостоин.

Хлестаков. А что?

Городничий. Нет, нет, недостоин, недостоин!

Хлестаков. Да что ж такое?

Городничий. Я бы дерзнул… У меня в доме есть прекрасная для вас комната, светлая, покойная… Но нет, чувствую сам, это уж слишком большая честь… Не рассердитесь – ей-богу, от простоты души предложил.

Хлестаков. Напротив, извольте, я с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке.

Городничий. А уж я так буду рад! А уж как жена обрадуется! У меня уже такой нрав: гостеприимство с самого детства, особливо если гость просвещенный человек. Не подумайте, чтобы я говорил это из лести; нет, не имею этого порока, от полноты души выражаюсь.

Хлестаков. Покорно благодарю. Я сам тоже – я не люблю людей двуличных. Мне очень нравятся ваша откровенность и радушие, и я бы, признаюсь, больше бы ничего и не требовал, как только оказывай мне преданность и уваженье, уваженье и преданность.

Явление IX

***Те же** и **трактирный слуга**, сопровождаемый **Осипом**. **Бобчинский** выглядывает в дверь.*

Слуга. Изволили спрашивать?

Хлестаков. Да; подай счет.

Слуга. Я уж давича подал вам другой счет.

Хлестаков. Я уж не помню твоих глупых счетов. Говори, сколько там?

Слуга. Вы изволили в первый день спросить обед, а на другой день только закусили семги и потом пошли все в долг брать.

Хлестаков. Дурак! еще начал высчитывать. Всего сколько следует?

Городничий. Да вы не извольте беспокоиться, он подождет. (*Слуге.*) Пошел вон, тебе пришлют.

Хлестаков. В самом деле, и то правда. (*Прячет деньги.*)

*Слуга уходит. В дверь выглядывает **Бобчинский.***

Явление X

Городничий, Хлестаков, Добчинский.

Городничий. Не угодно ли будет вам осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе, как-то – богоугодные и другие?

Хлестаков. А что там такое?

Городничий. А так, посмотрите, какое у нас течение дел… порядок какой…

Хлестаков. С большим удовольствием, я готов.

Бобчинский выставляет голову в дверь.

Городничий. Также, если будет ваше желание, оттуда в уездное училище, осмотреть порядок, в каком преподаются у нас науки.

Хлестаков. Извольте, извольте.

Городничий. Потом, если пожелаете посетить острог и городские тюрьмы – рассмотрите, как у нас содержатся преступники.

Хлестаков. Да зачем же тюрьмы? Уж лучше мы обсмотрим богоугодные заведения.

Городничий. Как вам угодно. Как вы намерены: в своем экипаже или вместе со мною на дрожках?

Хлестаков. Да, я лучше с вами на дрожках поеду.

Городничий.*(Добчинскому)*. Ну, Петр Иванович, вам теперь нет места.

Добчинский. Ничего, я так.

Городничий*(тихо, Добчинскому)*. Слушайте: вы побегите, да бегом, во все лопатки и снесите две записки: одну в богоугодное заведение Землянике, а другую жене.*(Хлестакову)*Осмелюсь ли я попросить позволения написать в вашем присутствии одну строчку жене, чтоб она приготовилась к принятию почтенного гостя?

Хлестаков. Да зачем же?.. А впрочем, тут и чернила, только бумаги – не знаю… Разве на этом счете?

Городничий. Я здесь напишу.*(Пишет и в то же время говорит про себя.)* А вот посмотрим, как пойдет дело после фриштика да бутылки толстобрюшки! Да есть у нас губернская мадера: неказиста на вид, а слона повалит с ног. Только бы мне узнать, что он такое и в какой мере нужно его опасаться. *(Написавши, отдает Добчинскому, который подходит к двери, но в это время дверь обрывается, и подслушивавший с другой стороны Бобчинский летит вместе с ней на сцену. Все издают восклицания. Бобчинский подымается.)*

Хлестаков. Что? Не ушиблись ли вы где-нибудь?

Бобчинский. Ничего, ничего-с, без всякого-с помешательства, только сверх носа небольшая нашлепка! Я забегу к Христиану

Ивановичу: у него-с есть пластырь такой, так вот оно и пройдет.

Городничий*(делая Бобчинскому укорительный знак, Хлестакову)*. Это-с ничего. Прошу покорнейше, пожалуйте! А слуге вашему я скажу, чтобы перенес чемодан. *(Осипу.)* Любезнейший, ты перенеси все ко мне, к городничему, – тебе всякий покажет. Прошу покорнейше! (Пропускает вперед Хлестакова и следует за ним, но оборотившись, говорит с укоризной Бобчинскому.) Уж и вы! не нашли другого места упасть! И растянулся, как черт знает что такое. (Уходит; за ним Бобчинский.)

Занавес опускается.

Действие третье

Комната первого действия

Явление I

Анна Андреевна *и* ***Марья Антоновна*** *стоят у окна в тех же самых положениях.*

Анна Андреевна. Ну вот, уж целый час дожидаемся, а все ты со своим глупым жеманством: совершенно оделась, нет, еще нужно копаться… Было бы не слушать ее вовсе. Экая досада! как нарочно, ни души! как будто бы вымерло все.

Марья Антоновна. Да, право, маменька, чрез минуты две все узнаем. Уж скоро Авдотья должна прийти. *(Всматривается в окно и вскрикивает.)* Ах, маменька, маменька! кто-то идет, вон в конце улицы.

Анна Андреевна. Где идет? У тебя вечно какие-нибудь фантазии. Ну да, идет. Кто же это идет? Небольшого роста… во фраке… Кто ж это? а? Это, однако ж, досадно! Кто ж бы это такой был?

Марья Антоновна. Это Добчинский, маменька.

Анна Андреевна. Какой Добчинский? Тебе всегда вдруг вообразится этакое… Совсем не Добчинский. *(Машет платком.)* Эй вы, ступайте сюда! скорее!

Марья Антоновна. Право, маменька, Добчинский.

Анна Андреевна. Ну вот, нарочно, чтобы только поспорить. Говорят тебе – не Добчинский.

Марья Антоновна. А что? а что, маменька? Видите, что Добчинский.

Анна Андреевна. Ну да, Добчинский, теперь я вижу, – из чего же ты споришь? *(Кричит в окно.)* Скорей, скорей! вы тихо идете. Ну что, где они? А? Да говорите же оттуда – все равно. Что? очень строгий? А? А муж, муж? *(Немного отступя от окна, с досадою.)* Такой глупый: до тех пор, пока не войдет в комнату, ничего не расскажет!

Явление II

Те же *и* ***Добчинский.***

Анна Андреевна. Ну, скажите, пожалуйста: ну, не совестно ли вам? Я на вас одних полагалась, как на порядочного человека:

все вдруг выбежали, и вы туда ж за ними! и я вот ни от кого до сих пор толку не доберусь. Не стыдно ли вам? Я у вас крестила вашего Ванечку и Лизаньку, а вы вот как со мною поступили!

Добчинский. Ей-богу, кумушка, так бежал засвидетельствовать почтение, что не могу духу перевесть. Мое почтение, Марья Антоновна!

Марья Антоновна. Здравствуйте, Петр Иванович!

Анна Андреевна. Ну что? Ну рассказывайте: что и как там?

Добчинский. Антон Антонович прислал вам записочку.

Анна Андреевна. Ну, да кто он такой? генерал?

Добчинский. Нет, не генерал, а не уступит генералу: такое образование и важные поступки-с.

Анна Андреевна. А! так это тот самый, о котором было писано мужу.

Добчинский. Настоящий. Я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем.

Анна Андреевна. Ну, расскажите: что и как?

Добчинский. Да, слава богу, все благополучно. Сначала он принял было Антона Антоновича немного сурово, да-с; сердился и говорил, что и в гостинице все нехорошо, и к нему не поедет, и что он не хочет сидеть за него в тюрьме; но потом, как узнал невинность Антона Антоновича и как покороче разговорился с ним, тотчас переменил мысли, и, слава богу, все пошло хорошо. Они теперь поехали осматривать богоугодные заведения… А то, признаюсь, уже Антон Антонович думали, не было ли тайного доноса; я сам тоже перетрухнул немножко.

Анна Андреевна. Да вам-то чего бояться? ведь вы не служите.

Добчинский. Да так, знаете, когда вельможа говорит, чувствуешь страх.

Анна Андреевна. Ну, что ж… это все, однако, вздор. Расскажите, каков он собою? что, стар или молод?

Добчинский. Молодой, молодой человек; лет двадцати трех: а говорит совсем так, как старик: «Извольте, говорит, я поеду и туда, и туда…» *(размахивает руками)* так это все славно. «Я, говорит, и написать, и почитать люблю, но, мешает, что в комнате, говорит, немножко темно.»

Анна Андреевна. А собой каков он: брюнет или блондин?

Добчинский. Нет, больше шантрет, и глаза такие быстрые, как зверки, так в смущенье даже приводят.

Анна Андреевна. Что тут пишет он мне в записке? *(Читает.)* «Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но, уповая на милосердие божие, за два соленых огурца особенно и за полпорции икры рубль двадцать пять

копеек…» *(Останавливается.)* Я ничего не понимаю, к чему же тут соленые огурцы и икра?

Добчинский. А, это Антон Антонович писали на черновой бумаге по скорости: так какой-то счет был написан.

Анна Андреевна. А, да, точно. *(Продолжает читать.)* «Но, уповая на милосердие божие, кажется, все будет к хорошему концу. Приготовь поскорее комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками; к обеду прибавлять не трудись, потому что закусим в богоугодном заведении у Артемия Филипповича, а вину вели побольше; скажи купцу Абдулину, чтобы прислал самого лучшего, а не то я перерою весь его погреб. Целуя, душенька, твою ручку, остаюсь твой: Антон Сквозник-Дмухановский…» Ах, боже мой! Это, однако ж, нужно поскорей! Эй, кто там? Мишка!

Добчинский*(бежит и кричит в дверь)*. Мишка! Мишка! Мишка!

Мишка *входит.*

Анна Андреевна. Послушай: беги к купцу Абдулину… постой, я дам тебе записочку *(садится к столу, пишет записку и между тем говорит)*: эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтоб он побежал с нею к купцу Абдулину и принес оттуда вина. А сам поди сейчас прибери хорошенько эту комнату для гостя. Там поставить кровать, рукомойник и прочее.

Добчинский. Ну, Анна Андреевна, я побегу теперь поскорее посмотреть, как там он обозревает.

Анна Андреевна. Ступайте, ступайте! я не держу вас.

Явление III

Анна Андреевна *и* ***Марья Антоновна.***

Анна Андреевна. Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он столичная штучка: боже сохрани, чтобы чего-нибудь не осмеял. Тебе приличнее всего надеть твое голубое платье с мелкими оборками.

Марья Антоновна. Фи, маменька, голубое! Мне совсем не нравится: и Ляпкина-Тяпкина ходит в голубом, и дочь Земляники в голубом. Нет, лучше я надену цветное.

Анна Андреевна. Цветное!.. Право, говоришь – лишь бы только наперекор. Оно тебе будет гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое; я очень люблю палевое.

Марья Антоновна. Ах, маменька, вам нейдет палевое!

Анна Андреевна. Мне палевое нейдет?

Марья Антоновна. Нейдет, я что угодно даю, нейдет: для

этого нужно, чтобы глаза были совсем темные.

Анна Андреевна. Вот хорошо! а у меня глаза разве не темные? самые темные. Какой вздор говорит! Как же не темные, когда я и гадаю про себя всегда на трефовую даму?

Марья Антоновна. Ах, маменька! вы больше червонная дама.

Анна Андреевна. Пустяки, совершенные пустяки! Я никогда не была червонная дама. *(Поспешно уходит вместе с Марьей Антоновной и говорит за сценою.)* Этакое вдруг вообразится! червонная дама! Бог знает что такое!

По уходе их отворяются двери, и **Мишка** выбрасывает из них сор. Из других дверей выходит **Осип** с чемоданом на голове.

Явление IV

Мишка** и **Осип.

Осип. Куда тут?

Мишка. Сюда, дядюшка, сюда.

Осип. Постой, прежде дай отдохнуть. Ах ты, горемычное житье! На пустое брюхо всякая ноша кажется тяжела.

Мишка. Что, дядюшка, скажите: скоро будет генерал?

Осип. Какой генерал?

Мишка. Да барин ваш.

Осип. Барин? Да какой он генерал?

Мишка. А разве не генерал?

Осип. Генерал, да только с другой стороны.

Мишка. Что ж, это больше или меньше настоящего генерала?

Осип. Больше.

Мишка. Вишь ты, как! то-то у нас сумятицу подняли.

Осип. Послушай, малый: ты, я вижу, проворный парень; приготовь-ка там что-нибудь поесть.

Мишка. Да для вас, дядюшка, еще ничего не готово. Простова блюда вы не будете кушать, а вот как барин ваш сядет за стол, так и вам того же кушанья отпустят.

Осип. Ну, а простова-то что у вас есть?

Мишка. Щи, каша и пироги.

Осип. Давай их, щи, кашу и пироги! Ничего, все будем есть. Ну, понесем чемодан! Что, там другой выход есть?

Мишка. Есть.

Оба несут чемодан в боковую комнату.

Явление V

Квартальные *отворяют обе половинки дверей. Входит* ***Хлестаков****: за ним* ***городничий****, далее* ***попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, Добчинский*** *и* ***Бобчинский*** *с пластырем на носу. Городничий указывает квартальным на полу бумажку – они бегут и снимают ее, толкая друг друга впопыхах.*

Хлестаков. Хорошие заведения. Мне нравится, что у вас показывают проезжающим все в городе. В других городах мне ничего не показывали.

Городничий. В других городах, осмелюсь вам доложить, градоправители и чиновники больше заботятся о своей, то есть, пользе. А здесь, можно сказать, нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностью заслужить внимание начальства.

Хлестаков. Завтрак был очень хорош; я совсем объелся. Что, у вас каждый день бывает такой?

Городничий. Нарочно для приятного гостя.

Хлестаков. Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба?

Артемий Филиппович*(подбегая)*. Лабардан-с.

Хлестаков. Очень вкусная. Где это мы завтракали? в больнице, что ли?

Артемий Филиппович. Так точно-с, в богоугодном заведении.

Хлестаков. Помню, помню, там стояли кровати. А больные выздоровели? там их, кажется, немного.

Артемий Филиппович. Человек десять осталось, не больше; а прочие все выздоровели. Это уж так устроено, такой порядок. С тех пор, как я принял начальство, – может быть, вам покажется даже невероятным, – все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти войти в лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком.

Городничий. Уж на что, осмелюсь доложить вам, головоломна обязанность градоначальника! Столько лежит всяких дел, относительно одной чистоты, починки, поправки… словом, наиумнейший человек пришел бы в затруднение, но, благодарение богу, все идет благополучно. Иной городничий, конечно, радел бы о своих выгодах; но, верите ли, что, даже когда ложишься спать, все думаешь: «Господи боже ты мой, как бы так устроить, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольно?..» Наградит ли оно или нет – конечно, в его воле; по крайней мере, я буду спокоен в сердце. Когда в городе во всем порядок, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало… то чего ж мне больше? Ей-ей, и почестей никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью все прах и суета.

Артемий Филиппович*(в сторону)*. Эка, бездельник, как расписывает! Дал же бог такой дар!

Хлестаков. Это правда. Я, признаюсь, сам люблю иногда заумствоваться: иной раз прозой, а в другой раз и стишки выкинутся.

Бобчинский*(Добчинскому)*. Справедливо, все справедливо, Петр Иванович! Замечания такие… видно, что наукам учился.

Хлестаков. Скажите, пожалуйста, нет ли у вас каких-нибудь развлечений, обществ, где бы можно было, например, поиграть в карты?

Городничий*(в сторону)*. Эге, знаем, голубчик, в чей огород камешки бросают! *(Вслух.)* Боже сохрани! здесь и слуху нет о таких обществах. Я карт и в руки никогда не брал; даже не знаю, как играть в эти карты. Смотреть никогда не мог на них равнодушно; и если случится увидеть этак какого-нибудь бубнового короля или что-нибудь другое, то такое омерзение нападет, что просто плюнешь. Раз как-то случилось, забавляя детей, выстроил будку из карт, да после того всю ночь снились, проклятые. Бог с ними! Как можно, чтобы такое драгоценное время убивать на них?

Лука Лукич*(в сторону)*. А у меня, подлец, выпонтировал вчера сто рублей.

Городничий. Лучше ж я употреблю это время на пользу государственную.

Хлестаков. Ну, нет, вы напрасно, однако же… Все зависит от той стороны, с которой кто смотрит на вещь. Если, например, забастуешь тогда, как нужно гнуть от трех углов… ну, тогда конечно… Нет, не говорите, иногда очень заманчиво поиграть.

Явление VI

Те же, Анна Андреевна *и* ***Марья Антоновна****.*

Городничий. Осмелюсь представить семейство мое: жена и дочь.

Хлестаков*(раскланиваясь)*. Как я счастлив, сударыня, что имею в своем роде удовольствие вас видеть.

Анна Андреевна. Нам еще более приятно видеть такую особу.

Хлестаков*(рисуясь)*. Помилуйте, сударыня, совершенно напротив: мне еще приятнее.

Анна Андреевна. Как можно-с! Вы это так изволите говорить, для комплимента. Прошу покорно садиться.

Хлестаков. Возле вас стоять уже есть счастие; впрочем, если

вы так уже непременно хотите, я сяду. Как я счастлив, что наконец сижу возле вас.

Анна Андреевна. Помилуйте, я никак не смею принять на свой счет… Я думаю, после столицы вояжировка вам показалась очень неприятною.

Хлестаков. Чрезвычайно неприятна. Привыкши жить, comprenez vous, в свете, и вдруг очутиться в дороге: грязные трактиры, мрак невежества… Если б, признаюсь, не такой случай, который меня… *(посматривает на Анну Андреевну и рисуется перед ней)* так вознаградил за все…

Анна Андреевна. В самом деле, как вам должно быть неприятно.

Хлестаков. Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно.

Анна Андреевна. Как можно-с! Вы делаете много чести. Я этого не заслуживаю.

Хлестаков. Отчего же не заслуживаете?

Анна Андреевна. Я живу в деревне…

Хлестаков. Да деревня, впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки… Ну, конечно, кто же сравнит с Петербургом! Эх, Петербург! что за жизнь, право! Вы, может быть, думаете, что я только переписываю; нет, начальник отделения со мной на дружеской ноге. Этак ударит по плечу: «Приходи, братец, обедать!» Я только на две минуты захожу в департамент, с тем только, чтобы сказать: «Это вот так, это вот так!» А там уж чиновник для письма, этакая крыса, пером только – тр, тр… пошел писать. Хотели было даже меня коллежским асессором сделать, да, думаю, зачем. И сторож летит еще на лестнице за мною со щеткою: «Позвольте, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу». *(Городничему.)* Что вы, господа, стоите? Пожалуйста, садитесь!

Вместе. **Городничий**. Чин такой, что еще можно постоять.

Артемий Филиппович. Мы постоим.

Лука Лукич. Не извольте беспокоиться.

Хлестаков. Без чинов, прошу садиться.

Городничий и все садятся.

Хлестаков. Я не люблю церемонии. Напротив, я даже всегда стараюсь проскользнуть незаметно. Но никак нельзя скрыться, никак нельзя! Только выйду куда-нибудь, уж и говорят: «Вон, говорят, Иван Александрович идет!» А один раз меня даже приняли за главнокомандующего: солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. После уже офицер, который мне очень знаком, говорит мне: «Ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего».

Анна Андреевна. Скажите как!

Хлестаков. С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные водевильчики… Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» – «Да так, брат, – отвечает, бывало, – так как-то все…» Большой оригинал.

Анна Андреевна. Так вы и пишете? Как это должно быть приятно сочинителю! Вы, верно, и в журналы помещаете?

Хлестаков. Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений: «Женитьба Фигаро», «Роберт-Дьявол», «Норма». Уж и названий даже не помню. И все случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь братец!» И тут же в один вечер, кажется, все написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Все это, что было под именем барона Брамбеуса, «Фрегат Надежды» и «Московский телеграф»… все это я написал.

Анна Андреевна. Скажите, так это вы были Брамбеус?

Хлестаков. Как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это сорок тысяч.

Анна Андреевна. Так, верно, и «Юрий Милославский» ваше сочинение?

Хлестаков. Да, это мое сочинение.

Марья Антоновна. Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение.

Анна Андреевна. Ну вот: я и знала, что даже здесь будешь спорить.

Хлестаков. Ах да, это правда, это точно Загоскина; а вот есть другой «Юрий Милославский», так тот уж мой.

Анна Андреевна. Ну, это, верно, я ваш читала. Как хорошо написано!

Хлестаков. Я, признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и известен: дом Ивана Александровича. *(Обращаясь ко всем.)* Сделайте милость, господа, если будете в Петербурге, прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю.

Анна Андреевна. Я думаю, с каким там вкусом и великолепием дают балы!

Хлестаков. Просто не говорите. На столе, например, арбуз – в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку – пар, которому подобного нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. Там у нас и вист свой составился: министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я. И уж так

уморишься, играя, что просто ни на что не похоже. Как взбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж – скажешь только кухарке: «На, Маврушка, шинель…» Что ж я вру – я и позабыл, что живу в бельэтаже. У меня одна лестница сто́ит… А любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся: графы и князья толкутся и жужжат там, как шмели, только и слышно: ж… ж… ж… Иной раз и министр…

Городничий и прочие с робостью встают со своих стульев.

Мне даже на пакетах пишут: «ваше превосходительство». Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал, – куда уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, – нет, мудрено. Кажется, и легко на вид, а рассмотришь – просто черт возьми! После видят, нечего делать, – ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение? – я спрашиваю. «Иван Александрович ступайте департаментом управлять!» Я, признаюсь, немного смутился, вышел в халате: хотел отказаться, но думаю: дойдет до государя, ну да и послужной список тоже… «Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю, говорю, так и быть, говорю, я принимаю, только уж у меня: ни, ни, ни!.. Уж у меня ухо востро! уж я…» И точно: бывало, как прохожу через департамент, – просто землетрясенье, все дрожит и трясется как лист.

Городничий и прочие трясутся от страха. Хлестаков горячится еще сильнее.

О! я шутить не люблю. Я им всем задал острастку. Меня сам государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой! я не посмотрю ни на кого… я говорю всем: «Я сам себя знаю, сам.» Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш… *(Поскальзывается и чуть-чуть не шлепается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками.)*

Городничий*(подходя и трясясь всем телом, силится выговорить)*. А ва-ва-ва… ва…

Хлестаков*(быстрым, отрывистым голосом)*. Что такое?

Городничий. А ва-ва-ва… ва…

Хлестаков*(таким же голосом)*. Не разберу ничего, все вздор.

Городничий. Ва-ва-ва… шество, превосходительство, не прикажете ли отдохнуть?.. вот и комната, и все что нужно.

Хлестаков. Вздор – отдохнуть. Извольте, я готов отдохнуть. Завтрак у вас, господа, хорош… Я доволен, я доволен. *(С декламацией.)* Лабардан! лабардан! *(Входит в боковую комнату,*

за ним городничий.)

Явление VII

***Те же**, кроме Хлестакова и городничего.*

Бобчинский*(Добчинскому)*. Вот это, Петр Иванович, человек-то! Вот оно, что значит человек! В жисть не был в присутствии столь важной персоны, чуть не умер со страху. Как вы думаете, Петр Иванович, кто он такой в рассуждении чина?

Добчинский. Я думаю, чуть ли не генерал.

Бобчинский. А я так думаю, что генерал-то ему и в подметки не станет! а когда генерал, то уж разве сам генералиссимус. Слышали: государственный-то совет как прижал? Пойдем расскажем поскорее Аммосу Федоровичу и Коробкину. Прощайте, Анна Андреевна!

Добчинский. Прощайте, кумушка!

Оба уходят.

Артемий Филиппович*(Луке Лукичу)*. Страшно просто. А отчего, и сам не знаешь. А мы даже и не в мундирах. Ну что, как проспится да в Петербург махнет донесение? *(Уходит в задумчивости вместе со смотрителем училищ, произнеся:)* Прощайте, сударыня!

Явление VIII

***Анна Андреевна** и **Марья Антоновна**.*

Анна Андреевна. Ах, какой приятный!

Марья Антоновна. Ах, какой милашка!

Анна Андреевна. Но только какое тонкое обращение! сейчас можно увидеть столичную штучку. Приемы и все это такое… Ах, как хорошо! Я страх люблю таких молодых людей! я просто без памяти. Я, однако ж, ему очень понравилась: я заметила – все на меня поглядывал.

Марья Антоновна. Ах, маменька, он на меня глядел!

Анна Андреевна. Пожалуйста, со своим вздором подальше! Это здесь вовсе не уместно.

Марья Антоновна. Нет, маменька, право!

Анна Андреевна. Ну вот! Боже сохрани, чтобы не поспорить! нельзя, да и полно! Где ему смотреть на тебя? И с какой стати ему смотреть на тебя?

Марья Антоновна. Право, маменька, все смотрел. И как начал говорить о литературе, то взглянул на меня, и потом, когда

рассказывал, как играл в вист с посланниками, и тогда посмотрел на меня.

Анна Андреевна. Ну, может быть, один какой-нибудь раз, да и то так уж, лишь бы только. «А, – говорит себе, – дай уж посмотрю на нее!»

Явление IX

Те же и городничий.

Городничий*(входит на цыпочках)*. Чш… ш…

Анна Андреевна. Что?

Городничий. И не рад, что напоил. Ну что, если хоть одна половина из того, что он говорил, правда? *(Задумывается.)* Да как же и не быть правде? Подгулявши, человек все несет наружу: что на сердце, то и на языке. Конечно, прилгнул немного; да ведь не прилгнувши не говорится никакая речь. С министрами играет и во дворец ездит… Так вот, право, чем больше думаешь… черт его знает, не знаешь, что и делается в голове; просто как будто или стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить.

Анна Андреевна. А я никакой совершенно не ощутила робости; я видела в нем образованного, светского, высшего тона человека, а о чинах его мне и нужды нет.

Городничий. Ну, уж вы – женщины! Все кончено, одного этого слова достаточно! Вам все – финтирлюшки! Вдруг брякнут ни из того ни из другого словцо. Вас посекут, да и только, а мужа и поминай как звали. Ты, душа моя, обращалась с ним так свободно, будто с каким-нибудь Добчинским.

Анна Андреевна. Об этом уж я советую вам не беспокоиться. Мы кой-что знаем такое… *(Посматривает на дочь.)*

Городничий*(один)*. Ну, уж с вами говорить!.. Эка в самом деле оказия! До сих пор не могу очнуться от страха. *(Отворяет дверь и говорит в дверь.)* Мишка, позови квартальных Свистунова и Держиморду: они тут недалеко где-нибудь за воротами. *(После небольшого молчания.)* Чудно все завелось теперь на свете: хоть бы народ-то уж был видный, а то худенький, тоненький – как его узнаешь, кто он? Еще военный все-таки кажет из себя, а как наденет фрачишку – ну точно муха с подрезанными крыльями. А ведь долго крепился давеча к трактире, заламливал такие аллегории и екивоки, что, кажись, век бы не добился толку. А вот наконец и подался. Да еще наговорил больше, чем нужно. Видно, что человек молодой.

Явление X

***Те же* и *Осип**. Все бегут к нему навстречу, кивая пальцами.*

Анна Андреевна. Подойди сюда, любезный!

Городничий. Чш!.. что? что? спит?

Осип. Нет еще, немножко потягивается.

Анна Андреевна. Послушай, как тебя зовут?

Осип. Осип, сударыня.

Городничий*(жене и дочери)*. Полно, полно вам! *(Осипу.)* Ну что, друг, тебя накормили хорошо?

Осип. Накормили, покорнейше благодарю; хорошо накормили.

Анна Андреевна. Ну что, скажи: к твоему барину слишком, я думаю, много ездит графов и князей?

Осип*(в сторону)*. А что говорить? Коли теперь накормили хорошо, значит, после еще лучше накормят. *(Вслух.)* Да, бывают и графы.

Марья Антоновна. Душенька Осип, какой твой барин хорошенький!

Анна Андреевна. А что, скажи, пожалуйста, Осип, как он…

Городничий. Да перестаньте, пожалуйста! Вы этакими пустыми речами только мне мешаете! Ну что, друг?..

Анна Андреевна. А чин какой на твоем барине?

Осип. Чин обыкновенно какой.

Городничий. Ах, боже мой, вы все с своими глупыми расспросами! не дадите ни слова поговорить о деле. Ну что, друг, как твой барин?.. строг? любит этак распекать или нет?

Осип. Да, порядок любит. Уж ему чтоб все было в исправности.

Городничий. А мне очень нравится твое лицо. Друг, ты должен быть хороший человек. Ну что…

Анна Андреевна. Послушай, Осип, а как барин твой там, в мундире ходит, или…

Городничий. Полно вам, право, трещотки какие! Здесь нужная вещь: дело идет о жизни человека… *(К Осипу.)* Ну что, друг, право, мне ты очень нравишься. В дороге не мешает, знаешь, чайку выпить лишний стаканчик, – оно теперь холодновато. Так вот тебе пара целковиков на чай.

Осип*(принимая деньги.)* А покорнейше благодарю, сударь. Дай бог вам всякого здоровья! бедный человек, помогли ему.

Городничий. Хорошо, хорошо, я и сам рад. А что, друг…

Анна Андреевна. Послушай, Осип, а какие глаза больше всего нравятся твоему барину?

Марья Антоновна. Осип, душенька, какой миленький носик у твоего барина!..

Городничий. Да постойте, дайте мне!.. *(К Осипу.)* А что,

друг, скажи, пожалуйста: на что больше барин твой обращает внимание, то есть что ему в дороге больше нравится?

Осип. Любит он, по рассмотрению, что как придется. Больше всего любит, чтобы его приняли хорошо, угощение чтоб было хорошее.

Городничий. Хорошее?

Осип. Да, хорошее. Вот уж на что я крепостной человек, но и то смотрит, чтобы и мне было хорошо. Ей-богу! Бывало, заедем куда-нибудь: «Что, Осип, хорошо тебя угостили?» – «Плохо, ваше высокоблагородие!» – «Э, говорит, это Осип, нехороший хозяин. Ты, говорит, напомни мне, как приеду». – «А, – думаю себе *(махнув рукою)*, – бог с ним! я человек простой».

Городничий. Хорошо, хорошо, и дело ты говоришь. Там я тебе дал на чай, так вот еще сверх того на баранки.

Осип. За что жалуете, ваше высокоблагородие? *(Прячет деньги.)* Разве уж выпью за ваше здоровье.

Анна Андреевна. Приходи, Осип, ко мне, тоже получишь.

Марья Антоновна. Осип, душенька, поцелуй своего барина!

Слышен из другой комнаты небольшой кашель Хлестакова.

Городничий. Чш! *(Поднимается на цыпочки; вся сцена вполголоса)*. Боже вас сохрани шуметь! Идите себе! полно уж вам…

Анна Андреевна. Пойдем, Машенька! я тебе скажу, что я заметила у гостя такое, что нам вдвоем только можно сказать.

Городничий. О, уж там наговорят! Я думаю, поди только да послушай – и уши потом заткнешь. *(Обращаясь к Осипу.)* Ну, друг…

Явление XI

*Те же, **Держиморда** и **Свистунов**.*

Городничий. Чш! экие косолапые медведи – стучат сапогами! Так и валится, как будто сорок пуд сбрасывает кто-нибудь с телеги! Где вас черт таскает?

Держиморда. Был по приказанию…

Городничий. Чш! *(Закрывает ему рот.)* Эк как каркнула ворона! *(Дразнит его.)* Был по приказанию! Как из бочки, так рычит. *(К Осипу.)* Ну, друг, ты ступай приготовляй там, что нужно для барина. Все, что ни есть в доме, требуй.

Осип уходит.

Городничий. А вы – стоять на крыльце, и ни с места! И никого не пускать в дом стороннего, особенно купцов! Если хоть одного из них впустите, то… Только увидите, что идет кто-нибудь

с просьбою, а хоть и не с просьбою, да похож на такого человека, что хочет подать на меня просьбу, взашей так прямо и толкайте! так его! хорошенько! *(Показывает ногою.)* Слышите? Чш… чш… *(Уходит на цыпочках вслед за квартальными.)*

Действие четвертое

Та же комната в доме городничего

Явление I

Входят осторожно, почти на цыпочках: ***Аммос Федорович, Артемий Филиппович, почтмейстер, Лука Лукич, Добчинский*** *и* ***Бобчинский,*** *в полном параде и мундирах.*

Вся сцена происходит вполголоса.

Аммос Федорович*(строит всех полукружием).* Ради бога, господа, скорее в кружок, да побольше порядку! Бог с ним: и во дворец ездит, и государственный совет распекает! Стройтесь на военную ногу, непременно на военную ногу! Вы, Петр Иванович, забегите с этой стороны, а вы, Петр Иванович, станьте вот тут.

Оба Петра Ивановича забегают на цыпочках.

Артемий Филиппович. Воля ваша, Аммос Федорович, нам нужно бы кое-что предпринять.

Аммос Федорович. А что именно?

Артемий Филиппович. Ну, известно что.

Аммос Федорович. Подсунуть?

Артемий Филиппович. Ну да, хоть и подсунуть.

Аммос Федорович. Опасно, черт возьми! раскричится: государственный человек. А разве в виде приношенья со стороны дворянства на какой-нибудь памятник?

Почтмейстер. Или же: «вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие».

Артемий Филиппович. Смотрите, чтобы он вас по почте не отправил куды-нибудь подальше. Слушайте: эти дела так не делаются в благоустроенном государстве. Зачем нас здесь целый эскадрон? Представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз и того… как там следует – чтобы и уши не слыхали. Вот как в обществе благоустроенном делается! Ну, вот вы, Аммос Федорович, первый и начните.

Аммос Федорович. Так лучше ж вы: в вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба.

Артемий Филиппович. Так уж лучше Луке Лукичу, как просветителю юношества.

Лука Лукич. Не могу, не могу, господа. Я, признаюсь, так воспитан, что, заговори со мною одним чином кто-нибудь повыше, у меня просто и души нет и язык как в грязь завязнул. Нет, господа, увольте, право увольте!

Артемий Филиппович. Да, Аммос Федорович, кроме вас, некому. У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел.

Аммос Федорович. Что вы! что вы: Цицерон! Смотрите, что выдумали! Что иной раз увлечешься, говоря о домашней своре или гончей ищейке…

Все*(пристают к нему.)* Нет, вы не только о собаках, вы и о столпотворении… Нет, Аммос Федорович, не оставляйте нас, будьте отцом нашим!.. Нет, Аммос Федорович!

Аммос Федорович. Отвяжитесь, господа!

В это время слышны шаги и откашливание в комнате Хлестакова. Все спешат наперерыв к дверям, толпятся и стараются выйти, что происходит не без того, чтобы не притиснули кое-кого.

Раздаются вполголоса восклицания:

Голос Бобчинского. Ой, Петр Иванович, Петр Иванович! наступили на ногу!

Голос Земляники. Отпустите, господа, хоть душу на покаяние – совсем прижали!

Выхватываются несколько восклицаний: «Ай! ай!» – наконец все выпираются, и комната остается пуста.

Явление II

***Хлестаков** один, выходит с заспанными глазами.*

Я, кажется, всхрапнул порядком. Откуда они набрали таких тюфяков и перин? даже вспотел. Кажется, они вчера мне подсунули чего-то за завтраком: в голове до сих пор стучит. Здесь, как я вижу, можно с приятностию проводить время. Я люблю радушие, и мне, признаюсь, больше нравится, если мне угождают от чистого сердца, а не то чтобы из интереса. А дочка городничего очень недурна, да и матушка такая, что еще можно бы… Нет, я не знаю, а мне, право, нравится, такая жизнь.

Явление III

***Хлестаков** и **Аммос Федорович**.*

Аммос Федорович*(входя и останавливаясь, про себя.)* Боже, боже! вынеси благополучно; так вот коленки и ломает. *(Вслух, вытянувшись и придерживая рукой шпагу.)* Имею честь представиться: судья здешнего уездного суда, коллежский асессор Ляпкин-Тяпкин.

Хлестаков. Прошу садиться. Так вы здесь судья?

Аммос Федорович. С восемьсот шестнадцатого был избран на трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени.

Хлестаков. А выгодно, однако же, быть судьею?

Аммос Федорович. За три трехлетия представлен к Владимиру четвертой степени с одобрения со стороны начальства. *(В сторону.)* А деньги в кулаке, да кулак-то весь в огне.

Хлестаков. А мне нравится Владимир. Вот Анна третьей степени уже не так.

Аммос Федорович*(высовывая понемногу вперед сжатый кулак. В сторону.)* Господи боже! не знаю, где сижу. Точно горячие угли под тобою.

Хлестаков. Что это у вас в руке?

Аммос Федорович*(потерявшись и роняя на пол ассигнации.)* Ничего-с.

Хлестаков. Как ничего? Я вижу, деньги упали.

Аммос Федорович*(дрожа всем телом.)* Никак нет-с. *(В сторону.)* О боже, вот я уже и под судом! и тележку подвезли схватить меня!

Хлестаков*(подымая.)* Да, это деньги.

Аммос Федорович*(в сторону.)* Ну, все кончено – пропал! пропал!

Хлестаков. Знаете ли что? дайте их мне взаймы.

Аммос Федорович*(поспешно.)* Как же-с, как же-с… с большим удовольствием. *(В сторону.)* Ну, смелее, смелее! Вывози, пресвятая матерь!

Хлестаков. Я, знаете, в дороге издержался: то да се… Впрочем, я вам из деревни сейчас их пришлю.

Аммос Федорович. Помилуйте, как можно! и без этого такая честь… Конечно, слабыми моими силами, рвением и усердием к начальству… постараюсь заслужить… *(Приподымается со стула, вытянувшись и руки по швам.)* Не смею более беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого приказанья?

Хлестаков. Какого приказанья?

Аммос Федорович. Я разумею, не дадите ли какого приказанья здешнему уездному суду?

Хлестаков. Зачем же? Ведь мне никакой нет теперь в нем надобности.

Аммос Федорович*(раскланиваясь и уходя, в сторону.)* Ну, город наш!

Хлестаков*(по уходе его.)* Судья – хороший человек.

Явление IV

***Хлестаков** и **почтмейстер**, входит вытянувшись, в мундире, придерживая шпагу.*

Почтмейстер. Имею честь представиться: почтмейстер, надворный советник Шпекин.

Хлестаков. А, милости просим. Я очень люблю приятное общество. Садитесь. Вы ведь здесь всегда живете?

Почтмейстер. Так точно-с.

Хлестаков. А мне нравится здешний городок. Конечно, не так многолюдно – ну что ж? Ведь это не столица. Не правда ли, ведь это не столица?

Почтмейстер. Совершенная правда.

Хлестаков. Ведь это только в столице бонтон и нет провинциальных гусей. Как ваше мнение, не так ли?

Почтмейстер. Так точно-с. *(В сторону.)* А он, однако ж, ничуть не горд; обо всем расспрашивает.

Хлестаков. А ведь, однако ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо?

Почтмейстер. Так точно-с.

Хлестаков. По моему мнению, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренне, – не так ли?

Почтмейстер. Совершенно справедливо.

Хлестаков. Я, признаюсь, рад, что вы одного мнения со мною. Меня, конечно, назовут странным, но уж у меня такой характер. *(Глядя в глаза ему, говорит про себя.)* А попрошу-ка я у этого почтмейстера взаймы! *(Вслух.)* Какой странный со мною случай: в дороге совершенно поиздержался. Не можете ли вы мне дать триста рублей взаймы?

Почтмейстер. Почему же? почту за величайшее счастие. Вот-с, извольте. От души готов служить.

Хлестаков. Очень благодарен. А я, признаться, смерть не люблю отказывать себе в дороге, да и к чему? Не так ли?

Почтмейстер. Так точно-с. *(Встает, вытягивается и придерживает шпагу.)* Не смея долее беспокоить своим присутствием… Не будет ли какого замечания по части почтового управления?

Хлестаков. Нет, ничего.

Почтмейстер раскланивается и уходит.

(Раскуривая сигарку.) Почтмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек. По крайней мере, услужлив. Я люблю таких людей.

Явление V

***Хлестаков** и **Лука Лукич**, который почти выталкивается из дверей. Сзади его слышен голос почти вслух:*

«Чего робеешь?»

Лука Лукич*(вытягиваясь не без трепета.)* Имею честь представиться: смотритель училищ, титулярный советник Хлопов.

Хлестаков. А, милости просим! Садитесь, садитесь. Не хотите ли сигарку? *(Подает ему сигару.)*

Лука Лукич*(про себя, в нерешимости.)* Вот тебе раз! Уж этого никак не предполагал. Брать или не брать?

Хлестаков. Возьмите, возьмите; это порядочная сигарка. Конечно, не то, что в Петербурге. Там, батюшка, я куривал сигарочки по двадцати пяти рублей сотенка, просто ручки потом себе поцелуешь, как выкуришь. Вот огонь, закурите. *(Подает ему свечу.)*

Лука Лукич пробует закурить и весь дрожит.

Да не с того конца!

Лука Лукич*(от испуга выронил сигару, плюнул и, махнув рукою, про себя.)* Черт побери все! сгубила проклятая робость!

Хлестаков. Вы, как я вижу, не охотник до сигарок. А я признаюсь: это моя слабость. Вот еще насчет женского полу, никак не могу быть равнодушен. Как вы? Какие вам больше нравятся – брюнетки или блондинки?

Лука Лукич находится в совершенном недоумении, что сказать.

Нет, скажите откровенно: брюнетки или блондинки?

Лука Лукич. Не смею знать.

Хлестаков. Нет, нет, не отговаривайтесь! Мне хочется узнать непременно ваш вкус.

Лука Лукич. Осмелюсь доложить… *(В сторону.)* Ну, и сам не знаю, что говорю.

Хлестаков. А! а! не хотите сказать. Верно, уж какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую загвоздочку. Признайтесь, сделала?

Лука Лукич молчит.

А! а! покраснели! Видите! видите! Отчего ж вы не говорите?

Лука Лукич. Оробел, ваше бла… преос… сият… *(В сторону.)* Продал проклятый язык, продал!

Хлестаков. Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость. По крайней мере, я знаю, что ни одна женщина не может их выдержать, не так ли?

Лука Лукич. Так точно-с.

Хлестаков. Вот со мной престранный случай: в дороге совсем издержался. Не можете ли вы мне дать триста рублей взаймы?

Лука Лукич*(хватаясь за карманы, про себя)*. Вот те штука,

если нет! Есть, есть! *(Вынимает и, подает, дрожа, ассигнации.)*

Хлестаков. Покорнейше благодарю.

Лука Лукич*(вытягиваясь и придерживая шпагу.)* Не смею долее беспокоить присутствием.

Хлестаков. Прощайте.

Лука Лукич*(летит вон почти бегом и говорит в сторону.)* Ну, слава богу! авось не заглянет в классы!

Явление VI

Хлестаков и **Артемий Филиппович**, вытянувшись и придерживая шпагу.

Артемий Филиппович. Имею честь представиться: попечитель богоугодных заведений, надворный советник Земляника.

Хлестаков. Здравствуйте, прошу покорно садиться.

Артемий Филиппович. Имел честь сопровождать вас и принимать лично во вверенных моему смотрению богоугодных заведениях.

Хлестаков. А, да! помню. Вы очень хорошо угостили завтраком.

Артемий Филиппович. Рад стараться на службу отечеству.

Хлестаков. Я – признаюсь, это моя слабость, – люблю хорошую кухню. Скажите, пожалуйста, мне кажется, как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли?

Артемий Филиппович. Очень может быть. *(Помолчав.)* Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. *(Придвигается ближе с своим стулом и говорит вполголоса.)* Вот здешний почтмейстер совершенно ничего не делает: все дела в большом запущении, посылки задерживаются… извольте сами нарочно разыскать. Судья тоже, который только что был перед моим приходом, ездит только за зайцами, в присутственных местах держит собак и поведения, если признаться пред вами, – конечно, для пользы отечества я должен это сделать, хотя он мне родня и приятель, – поведения самого предосудительного. Здесь есть один помещик, Добчинский, которого вы изволили видеть; и как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дому, то он там уж и сидит у жены его, я присягнуть готов… И нарочно посмотрите на детей: ни одно из них не похоже на Добчинского, но все, даже девочка маленькая, как вылитый судья.

Хлестаков. Скажите пожалуйста! а я никак этого не думал.

Артемий Филиппович. Вот и смотритель здешнего училища… Я не знаю, как могло начальство поверить ему такую

должность: он хуже, чем якобинец, и такие внушает юношеству неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли, я все это изложу лучше на бумаге?

Хлестаков. Хорошо, хоть на бумаге. Мне очень будет приятно. Я, знаете, этак люблю в скучное время прочесть что-нибудь забавное… Как ваша фамилия? я все позабываю.

Артемий Филиппович. Земляника.

Хлестаков. А, да! Земляника. И что ж, скажите, пожалуйста, есть ли у вас детки?

Артемий Филиппович. Как же-с, пятеро; двое уже взрослых.

Хлестаков. Скажите, взрослых! А как они… как они того?..

Артемий Филиппович. То есть не изволите ли вы спрашивать, как их зовут?

Хлестаков. Да, как их зовут?

Артемий Филиппович. Николай, Иван, Елизавета, Марья и Перепетуя.

Хлестаков. Это хорошо.

Артемий Филиппович. Не смея беспокоить своим присутствием, отнимать время, определенного на священные обязанности… *(Раскланивается с тем, чтобы уйти.)*

Хлестаков*(провожая.)* Нет, ничего. Это все очень смешно, что вы говорили. Пожалуйста, и в другое тоже время… Я это очень люблю. *(Возвращается и, отворивши дверь, кричит вслед ему.)* Эй, вы! как вас? я все позабываю, как ваше имя и отчество.

Артемий Филиппович. Артемий Филиппович.

Хлестаков. Сделайте милость, Артемий Филиппович, со мной странный случай: в дороге совершенно поиздержался. Нет ли у вас взаймы денег – рублей четыреста?

Артемий Филиппович. Есть.

Хлестаков. Скажите, как кстати. Покорнейше вас благодарю.

Явление VII

***Хлестаков, Бобчинский* и *Добчинский*.**

Бобчинский. Имею честь представиться: житель здешнего города, Петр Иванов сын Бобчинский.

Добчинский. Помещик Петр Иванов сын Добчинский.

Хлестаков. А, да я уж вас видел. Вы, кажется, тогда упали? Что, как ваш нос?

Бобчинский. Слава богу! не извольте беспокоиться: присох, теперь совсем присох.

Хлестаков. Хорошо, что присох. Я рад… *(Вдруг и отрывисто.)* Денег нет у вас?

Бобчинский. Денег? как денег?

Хлестаков*(громко и скоро)*. Взаймы рублей тысячу.

Бобчинский. Такой суммы, ей-богу, нет. А нет ли у вас, Петр Иванович?

Добчинский. При мне-с не имеется, потому что деньги мои, если изволите знать, положены в приказ общественного призрения.

Хлестаков. Да, ну если тысячи нет, так рублей сто.

Бобчинский*(шаря в карманах)*. У вас, Петр Иванович, нет ста рублей? У меня всего сорок ассигнациями.

Добчинский. *(смотря в бумажник.)* Двадцать пять рублей всего.

Бобчинский. Да вы поищите-то получше, Петр Иванович! У вас там, я знаю, в кармане-то с правой стороны прореха, так в прореху-то, верно, как-нибудь запали.

Добчинский. Нет, право, и в прорехе нет.

Хлестаков. Ну, все равно. Я ведь только так. Хорошо, пусть будет шестьдесят пять рублей. Это все равно. *(Принимает деньги.)*

Добчинский. Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства.

Хлестаков. А что это?

Добчинский. Дело очень тонкого свойства-с: старший-то сын мой, изволите видеть, рожден мною еще до брака.

Хлестаков. Да?

Добчинский. То есть оно только так говорится, а он рожден мною так совершенно, как бы и в браке, и все это, как следует, я завершил потом законными-с узами супружества-с. Так я, изволите видеть, хочу, чтоб он теперь уже был совсем, то есть, законным моим сыном-с и назывался бы так, как я: Добчинский-с.

Хлестаков. Хорошо, пусть называется! Это можно.

Добчинский. Я бы и не беспокоил вас, да жаль насчет способностей. Мальчишка-то этакой… большие надежды подает: наизусть стихи расскажет и, если где попадется ножик, сейчас сделает маленькие дрожечки так искусно, как фокусник-с. Вот и Петр Иванович знает.

Бобчинский. Да, большие способности имеет.

Хлестаков. Хорошо, хорошо! Я об этом постараюсь, я буду говорить… я надеюсь… все это будет сделано, да, да… *(Обращаясь к Бобчинскому.)* Не имеете ли и вы чего-нибудь сказать мне?

Бобчинский. Как же, имею очень нижайшую просьбу.

Хлестаков. А что, о чем?

Бобчинский. Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и

адмиралам, что вот, ваше сиятельство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Петр Иванович Бобчинский.

Хлестаков. Очень хорошо.

Бобчинский. Да если этак и государю придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский.

Хлестаков. Очень хорошо.

Добчинский. Извините, что так утрудили вас своим присутствием.

Бобчинский. Извините, что так утрудили вас своим присутствием.

Хлестаков. Ничего, ничего! Мне очень приятно. *(Выпроваживает их.)*

Явление VIII

***Хлестаков** один.*

Здесь много чиновников. Мне кажется, однако ж, что они меня принимаю за государственного человека. Верно, я вчера им подпустил пыли. Экое дурачье! Напишу-ку я обо всем в Петербург к Тряпичкину: он пописывает статейки – пусть-ка он их общелкает хорошенько. Эй, Осип, подай мне бумагу и чернила!

Осип выглянул из дверей, произнесши: «Сейчас».

А уж Тряпичкину, точно, если кто попадет на зубок, – берегись: отца родного не пощадит для словца, и деньгу тоже любит. Впрочем, чиновники эти добрые люди; это с их стороны хорошая черта, что они мне дали взаймы. Пересмотрю нарочно, сколько у меня денег. Это от судьи триста; это от почтмейстера триста, шестьсот, семьсот, восемьсот… Какая замасленная бумажка! Восемьсот, девятьсот… Ого! За тысячу перевалило… Ну-ка, теперь, капитан, ну-ка, попадись-ка ты мне теперь! Посмотрим, кто кого!

Явление IX

***Хлестаков** и **Осип** с чернилами и бумагою.*

Хлестаков. Ну что, видишь, дурак, как меня угощают и принимают? *(Начинает писать.)*

Осип. Да, слава богу! Только знаете что, Иван Александрович?

Хлестаков*(пишет).* А что?

Осип. Уезжайте отсюда. Ей-богу, уже пора.

Хлестаков*(пишет).* Вот вздор! Зачем?

Осип. Да так. Бог с ними со всеми! Погуляли здесь два денька – ну и довольно. Что с ними долго связываться? Плюньте на них! не ровен час, какой-нибудь другой наедет… ей-богу, Иван Александрович! А лошади тут славные – так бы закатили!..

Хлестаков*(пишет).* Нет, мне еще хочется пожить здесь. Пусть завтра.

Осип. Да что завтра! Ей-богу, поедем, Иван Александрович! Оно хоть и большая честь вам, да все, знаете, лучше уехать скорее: ведь вас, право, за кого-то другого приняли… И батюшка будет гневаться, что так замешкались. Так бы, право, закатили славно! А лошадей бы важных здесь дали.

Хлестаков*(пишет).* Ну, хорошо. Отнеси только наперед это письмо; пожалуй, вместе и подорожную возьми. Да зато, смотри, чтоб лошади хорошие были! Ямщикам скажи, что я буду давать по целковому; чтобы так, как фельдъегеря, катили и песни бы пели!.. *(Продолжает писать.)* Воображаю, Тряпичкин умрет со смеху…

Осип. Я, сударь, отправлю его с человеком здешним, а сам лучше буду укладываться, чтоб не прошло понапрасну время.

Хлестаков*(пишет).* Хорошо. Принеси только свечу.

Осип*(выходит и говорит за сценой.)* Эй, послушай, брат! Отнесешь письмо на почту, и скажи почтмейстеру, чтоб он принял без денег; да скажи, чтоб сейчас привели к барину самую лучшую тройку, курьерскую; а прогону, скажи, барин не плотит: прогон, мол, скажи, казенный. Да чтоб все живее, а не то, мол, барин сердится. Стой, еще письмо не готово.

Хлестаков*(продолжает писать).* Любопытно знать, где он теперь живет – в Почтамтской или Гороховой? Он ведь тоже любит часто переезжать с квартиры на квартиру и недоплачивать. Напишу наудалую в Почтамтскую. *(Свертывает и надписывает.)*

Осип приносит свечу. Хлестаков печатает. В это время слышен голос Держиморды: «Куда лезешь, борода? Говорят тебе, никого не велено пускать».

(Дает Осипу письмо.) На, отнеси.

Голоса купцов. Допустите, батюшка! Вы не можете не допустить: мы за делом пришли.

Голос Держиморды. Пошел, пошел! Не принимает, спит.

Шум увеличивается.

Что там такое, Осип? Посмотри, что за шум.

Осип*(глядя в окно.)* Купцы какие-то хотят войти, да не допускает квартальный. Машут бумагами: верно, вас хотят видеть.

Хлестаков*(подходя к окну.)* А что вы, любезные?

Голоса купцов. К твоей милости, прибегаем. Прикажи, государь, просьбу принять.

Хлестаков. Впустите их, впустите! пусть идут. Осип, скажи им: пусть идут.

Осип уходит.

(Принимает из окна просьбы, развертывает одну из них и читает:) «Его высокоблагородному светлости господину финансову от купца Абдулина…» Черт знает что: и чина такого нет!

Явление X

Хлестаков *и* ***купцы*** *с кузовом вина и сахарными головами.*

Хлестаков. А что вы, любезные?

Купцы. Челом бьем вашей милости!

Хлестаков. А что вам угодно?

Купцы. Не погуби, государь! Обижательство терпим совсем понапрасну.

Хлестаков. От кого?

Один из купцов. Да все от городничего здешнего. Такого городничего никогда еще, государь, не было. Такие обиды чинит, что описать нельзя. Постоем совсем заморил, хоть в петлю полезай. Не по поступкам поступает. Схватит за бороду, говорит: «Ах ты, татарин!» Ей-богу! Если бы, то есть, чем-нибудь не уважили его, а то мы уж порядок всегда исполняем: что следует на платья супружнице его и дочке – мы против этого не стоим. Нет, вишь ты, ему всего этого мало – ей-ей! Придет в лавку и, что ни попадет, все берет. Сукна увидит штуку, говорит: «Э, милый, это хорошее суконце: снеси-ка его ко мне». Ну и несешь, а в штуке-то будет без мала аршин пятьдесят.

Хлестаков. Неужели? Ах, какой же он мошенник!

Купцы. Ей-богу! такого никто не запомнит городничего. Так все и припрятываешь в лавке, когда его завидишь. То есть, не то уж говоря, чтоб какую деликатность, всякую дрянь берет: чернослив такой, что лет уже по семи лежит в бочке, что у меня сиделец не будет есть, а он целую горсть туда запустит. Именины его бывают на Антона, и уж, кажись, всего нанесешь, ни в чем не нуждается; нет, ему еще подавай: говорит, и на Онуфрия его именины.

Хлестаков. Да это просто разбойник!

Купцы. Ей-ей! А попробуй прекословить, наведет к тебе в дом целый полк на постой. А если что, велит запереть двери. «Я тебя,

говорит, не буду, говорит, подвергать телесному наказанию или пыткой пытать – это, говорит, запрещено законом, а вот ты у меня, любезный, поешь селедки!»

Хлестаков. Ах, какой мошенник! Да за это просто в Сибирь.

Купцы. Да уж куда милость твоя не запровадит его, все будет хорошо, лишь бы, то есть, от нас подальше. Не побрезгай, отец наш, хлебом и солью: кланяемся тебе сахарком и кузовком вина.

Хлестаков. Нет, вы этого не думайте: я не беру совсем никаких взяток. Вот если бы вы, например, предложили мне взаймы рублей триста – ну, тогда совсем дело другое: взаймы я могу взять.

Купцы. Изволь, отец наш! *(Вынимают деньги.)* Да что триста! Уж лучше пятьсот возьми, помоги только.

Хлестаков. Извольте: взаймы – я ни слова, я возьму.

Купцы*(подносят ему на серебряном подносе деньги.)* Уж, пожалуйста, и подносит вместе возьмите.

Хлестаков. Ну, и подносик можно.

Купцы*(кланяясь)*. Так уж возьмите за одним разом и сахарцу.

Хлестаков. О нет, я взяток никаких…

Осип. Ваше высокоблагородие! зачем вы не берете? Возьмите! в дороге все пригодится. Давай сюда головы и кулек! Подавай все! все пойдет впрок. Что там? веревочка? Давай и веревочку, – и веревочка в дороге пригодится: тележка обломается или что другое, подвязать можно.

Купцы. Так уж сделайте такую милость, ваше сиятельство. Если уже вы, то есть, не поможете в нашей просьбе, то уж не знаем, как и быть: просто хоть в петлю полезай.

Хлестаков. Непременно, непременно! Я постараюсь.

Купцы уходят. Слышен голос женщины: «Нет, ты не смеешь не допустить меня! Я на тебя нажалуюсь ему самому. Ты не толкайся так больно!»

Кто там? *(Подходит к окну.)* А, что ты, матушка?

Голоса двух женщин. Милости твоей, отец, прошу! Повели, государь, выслушать!

Хлестаков*(в окно)*. Пропустить ее.

Явление XI

***Хлестаков, слесарша** и **унтер-офицерша**.*

Слесарша*(кланяясь в ноги).* Милости прошу…

Унтер-офицерша. Милости прошу…

Хлестаков. Да что вы за женщины?

Унтер-офицерша. Унтер-офицерская жена Иванова.

Слесарша. Слесарша, здешняя мещанка, Февронья Петрова Пошлепкина, отец мой…

Хлестаков. Стой, говори прежде одна. Что тебе нужно?

Слесарша. Милости прошу: на городничего челом бью! Пошли ему бог всякое зло! Что ни детям его, ни ему, мошеннику, ни дядьям, ни теткам его ни в чем никакого прибытку не было!

Хлестаков. А что?

Слесарша. Да мужу-то моему приказал забрить лоб в солдаты, и очередь-то на нас не припадала, мошенник такой! да и по закону нельзя: он женатый.

Хлестаков. Как же он мог это сделать?

Слесарша. Сделал мошенник, сделал – побей бог его на том и на этом свете! Чтобы ему, если и тетка есть, то и тетке всякая пакость, и отец если жив у него, то чтоб и он, каналья, околел или поперхнулся навеки, мошенник такой! Следовало взять сына портного, он же и пьянюшка был, да родители богатый подарок дали, так он и присыкнулся к сыну купчихи Пантелеевой, а Пантелеева тоже подослала к супруге полотна три штуки; так он ко мне. «На что, говорит, тебе муж? он уж тебе не годится». Да я-то знаю – годится или не годится; это мое дело, мошенник такой! «Он, говорит, вор; хоть он теперь и не украл, да все равно, говорит, он украдет, его и без того на следующий год возьмут в рекруты». Да мне-то каково без мужа, мошенник такой! Я слабый человек, подлец ты такой! Чтоб всей родне твоей не довелось видеть света божьего! А если есть теща, то чтоб и теще…

Хлестаков. Хорошо, хорошо. Ну, а ты? *(Выпровожает старуху.)*

Слесарша*(уходя.)* Не позабудь, отец наш! будь милостив!

Унтер-офицерша. На городничего, батюшка, пришла…

Хлестаков. Ну, да что, зачем? говори в коротких словах.

Унтер-офицерша. Высек, батюшка!

Хлестаков. Как?

Унтер-офицерша. По ошибке, отец мой! Бабы-то наши задрались на рынке, а полиция не подоспела да схвати меня. Да так отрапортовали: два дни сидеть не могла.

Хлестаков. Так что ж теперь делать?

Унтер-офицерша. Да делать-то, конечно, нечего. А за ошибку-то повели ему заплатить штрафт. Мне от своего счастья неча отказываться, а деньги бы мне теперь очень пригодились.

Хлестаков. Хорошо, хорошо. Ступайте, ступайте! я распоряжусь.

В окно высовываются руки с просьбами.

Да кто там еще? *(Подходит к окну.)* Не хочу, не хочу! Не нужно, не нужно! *(Отходя.)* Надоели, черт возьми! Не впускай,

Осип!

Осип*(кричит в окно)*. Пошли, пошли! Не время, завтра приходите!

Дверь отворяется, и выставляется какая-то фигура во фризовой шинели, с небритою бородою, раздутою губою и перевязанной щекою; за нею в перспективе показывается несколько других.

Пошел, пошел! чего лезешь? *(Упирается первому руками в брюхо и выпирается вместе с ним в прихожую, захлопнув за собою дверь.)*

Явление XII

Хлестаков *и* ***Марья Антоновна****.*

Марья Антоновна. Ах!

Хлестаков. Отчего вы так испугались, сударыня?

Марья Антоновна. Нет, я не испугалась.

Хлестаков*(рисуется.)* Помилуйте, сударыня, мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который… Осмелюсь ли спросить вас: куда вы намерены были идти?

Марья Антоновна. Право, я никуда не шла.

Хлестаков. Отчего же, например, вы никуда не шли?

Марья Антоновна. Я думала, не здесь ли маменька…

Хлестаков. Нет, мне хотелось бы знать, отчего вы никуда не шли?

Марья Антоновна. Я вам помешала. Вы занимались важными делами.

Хлестаков*(рисуется.)* А ваши глаза лучше, нежели важные дела… Вы никак не можете мне помешать, никаким образом не можете; напротив того, вы можете принести удовольствие.

Марья Антоновна. Вы говорите по-столичному.

Хлестаков. Для такой прекрасной особы, как вы. Осмелюсь ли быть так счастлив, чтобы предложить вам стул? но нет, вам должно не стул, а трон.

Марья Антоновна. Право, я не знаю… мне так нужно было идти. *(Села.)*

Хлестаков. Какой у вас прекрасный платочек!

Марья Антоновна. Вы насмешники, лишь бы только посмеяться над провинциальными.

Хлестаков. Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку.

Марья Антоновна. Я совсем не понимаю, о чем вы говорите: какой-то платочек… Сегодня какая странная погода!

Хлестаков. А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода.

Марья Антоновна. Вы все эдакое говорите… Я бы вас попросила, чтоб вы мне написали лучше на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много.

Хлестаков. Для вас, сударыня, все что хотите. Требуйте, какие стихи вам?

Марья Антоновна. Какие-нибудь эдакие – хорошие, новые.

Хлестаков. Да что стихи! я много их знаю.

Марья Антоновна. Ну, скажите же, какие же вы мне напишете?

Хлестаков. Да к чему же говорить? я и без того их знаю.

Марья Антоновна. Я очень люблю их…

Хлестаков. Да у меня много их всяких. Ну, пожалуй, я вам хоть это: «О ты, что в горести напрасно на бога ропщешь, человек!..» Ну и другие… теперь не могу припомнить; впрочем, это все ничего. Я вам лучше вместо этого представлю мою любовь, которая от вашего взгляда… *(Придвигая стул.)*

Марья Антоновна. Любовь! Я не понимаю любовь… я никогда и не знала, что за любовь… *(Отодвигая стул.)*

Хлестаков*(придвигая стул)*. Отчего ж вы отдвигаете свой стул? Нам лучше будет сидеть близко друг к другу.

Марья Антоновна*(отдвигаясь)*. Для чего ж близко? все равно и далеко.

Хлестаков*(придвигаясь)*. Отчего ж далеко? все равно и близко.

Марья Антоновна*(отдвигается)*. Да к чему ж это?

Хлестаков*(придвигаясь)*. Да ведь вам только кажется, что близко; а вы вообразите себе, что далеко. Как бы я был счастлив, сударыня, если б мог прижать вас в свои объятия.

Марья Антоновна*(смотрит в окно)*. Что это там как будто бы полетело? Сорока или какая другая птица?

Хлестаков*(целует ее в плечо и смотрит в окно.)* Это сорока.

Марья Антоновна*(встает в негодовании.)* Нет, это уж слишком… Наглость такая!..

Хлестаков*(удерживая ее)*. Простите, сударыня, я это сделал от любви, точно от любви.

Марья Антоновна. Вы почитаете меня за такую провинциалку… *(Силится уйти.)*

Хлестаков*(продолжая удерживать ее.)* Из любви, право, из любви. Я так только, пошутил, Марья Антоновна, не сердитесь! Я готов на коленках просить у вас прощения. *(Падает на колени.)* Простите же, простите! Вы видите, я на коленях.

Явление XIII

Те же и Анна Андреевна.

Анна Андреевна*(увидев Хлестакова на коленях)*. Ах, какой пассаж!

Хлестаков*(вставая)* А, черт возьми!

Анна Андреевна*(дочери)*. Это что значит, сударыня! Это что за поступки такие?

Марья Антоновна. Я, маменька…

Анна Андреевна. Поди прочь отсюда! слышишь: прочь, прочь! И не смей показываться на глаза.

Марья Антоновна уходит в слезах.

Анна Андреевна. Извините, я, признаюсь, приведена в такое изумление…

Хлестаков*(в сторону)*. А она тоже очень аппетитна, очень недурна. *(Бросается на колени.)* Сударыня, вы видите, я сгораю от любви.

Анна Андреевна. Как, вы на коленях? Ах, встаньте, встаньте! здесь пол совсем нечист.

Хлестаков Нет, на коленях, непременно на коленях! Я хочу знать, что такое мне суждено: жизнь или смерть.

Анна Андреевна. Но позвольте, я еще не понимаю вполне значения слов. Если не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери?

Хлестаков Нет, я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я недостоин земного существования. С пламенем в груди прошу руки вашей.

Анна Андреевна. Но позвольте заметить: я в некотором роде… я замужем.

Хлестаков Это ничего! Для любви нет различия; и Карамзин сказал: «Законы осуждают». Мы удалимся под сень струй… Руки вашей, руки прошу!

Явление XIV

Те же и Марья Антоновна*, вдруг вбегает.*

Марья Антоновна. Маменька, папенька сказал, чтобы вы… *(Увидя Хлестакова на коленях, вскрикивает.)* Ах, какой пассаж!

Анна Андреевна. Ну что ты? к чему? зачем? Что за ветреность такая! Вдруг вбежала, как угорелая кошка. Ну что ты нашла такого удивительного? Ну что тебе вздумалось? Право, как дитя какое-нибудь трехлетнее. Не похоже, не похоже, совершенно не похоже на то, чтобы ей было восемнадцать лет. Я не знаю,

когда ты будешь благоразумнее, когда ты будешь вести себя, как прилично благовоспитанной девице; когда ты будешь знать, что такое хорошие правила и солидность в поступках.

Марья Антоновна*(сквозь слезы)*. Я, право, маменька, не знала…

Анна Андреевна. У тебя вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в голове; ты берешь пример с дочерей Ляпкина-Тяпкина. Что тебе глядеть на них? не нужно тебе глядеть на них. Тебе есть примеры другие – перед тобою мать твоя. Вот каким примерам ты должна следовать.

Хлестаков*(схватывая за руку дочь)*. Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучию, благословите постоянную любовь!

Анна Андреевна*(с изумлением)*. Так вы в нее?..

Хлестаков. Решите: жизнь или смерть?

Анна Андреевна. Ну вот видишь, дура, ну вот видишь: из-за тебя, этакой дряни, гость изволил стоять на коленях; а ты вдруг вбежала как сумасшедшая. Ну вот, право, стоит, чтобы я нарочно отказала: ты недостойна такого счастия.

Марья Антоновна. Не буду, маменька. Право, вперед не буду.

Явление XV

***Те же** и **городничий** впопыхах.*

Городничий. Ваше превосходительство! не погубите! не погубите!

Хлестаков. Что с вами?

Городничий. Там купцы жаловались вашему превосходительству. Честью уверяю, и наполовину нет того, что они говорят. Они сами обманывают и обмеривают народ. Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу, врет. Она сама себя высекла.

Хлестаков. Провались унтер-офицерша – мне не до нее!

Городничий. Не верьте, не верьте! Это такие лгуны… им вот эдакой ребенок не поверит. Они уж и всему городу известны за лгунов. А насчет мошенничества, осмелюсь доложить: это такие мошенники, каких свет не производил.

Анна Андреевна. Знаешь ли ты, какой чести удостоивает нас Иван Александрович? Он просит руки нашей дочери.

Городничий. Куда! куда!.. Рехнулась, матушка! Не извольте гневаться, ваше превосходительство: она немного с придурью, такова же была и мать ее.

Хлестаков. Да, я точно прошу руки. Я влюблен.

Городничий. Не могу верить, ваше превосходительство!

Анна Андреевна. Да когда говорят тебе?

Хлестаков. Я не шутя вам говорю… Я могу от любви свихнуть с ума.

Городничий. Не смею верить, не достоин такой чести.

Хлестаков. Да, если вы не согласитесь отдать руки Марьи Антоновны, то я черт знает что готов…

Городничий. Не могу верить: изволите шутить, ваше превосходительство!

Анна Андреевна. Ах, какой чурбан в самом деле! Ну, когда тебе толкуют?

Городничий. Не могу верить.

Хлестаков. Отдайте, отдайте! Я отчаянный человек, я решусь на все: когда застрелюсь, вас под суд отдадут.

Городничий. Ах, боже мой! Я, ей-ей, не виноват ни душою, ни телом. Не извольте гневаться! Извольте поступать так, как вашей милости угодно! У меня, право, в голове теперь… я и сам не знаю, что делается. Такой дурак теперь сделался, каким еще никогда не бывал.

Анна Андреевна. Ну, благословляй!

Хлестаков подходит с Марьей Антоновной.

Городничий. Да благословит вас бог, а я не виноват.

Хлестаков целуется с Марьей Антоновной. Городничий смотрит на них.

Что за черт! в самом деле! *(Протирает глаза.)* Целуются! Ах, батюшки, целуются! Точный жених! *(Вскрикивает, подпрыгивая от радости.)* Ай, Антон! Ай, Антон! Ай, городничий! Вона, как дело-то пошло!

Явление XVI

Те же и Осип.

Осип. Лошади готовы.

Хлестаков. А, хорошо… я сейчас.

Городничий. Как-с? Изволите ехать?

Хлестаков. Да, еду.

Городничий. А когда же, то есть… вы изволили сами намекнуть насчет, кажется, свадьбы?

Хлестаков. А это… На одну минуту только… на один день к дяде – богатый старик; а завтра же и назад.

Городничий. Не смеем никак удерживать, в надежде благополучного возвращения.

Хлестаков. Как же, как же, я вдруг. Прощайте, любовь моя… нет, просто не могу выразить! Прощайте, душенька! *(Целует ее ручку.)*

Городничий. Да не нужно ли вам в дорогу чего-нибудь? Вы изволили, кажется, нуждаться в деньгах?

Хлестаков. О нет, к чему это? *(Немного подумав.)* А впрочем, пожалуй.

Городничий. Сколько угодно вам?

Хлестаков. Да вот тогда вы дали двести, то есть не двести, а четыреста, – я не хочу воспользоваться вашею ошибкою, – так, пожалуй, и теперь столько же, чтобы уже ровно было восемьсот.

Городничий. Сейчас! *(Вынимает из бумажника.)* Еще, как нарочно, самыми новенькими бумажками.

Хлестаков. А, да! *(Берет и рассматривает ассигнации.)* Это хорошо. Ведь это, говорят, новое счастье, когда новенькими бумажками.

Городничий. Так точно-с.

Хлестаков. Прощайте, Антон Антонович! Очень обязан за ваше гостеприимство. Я признаюсь от всего сердца: мне нигде не было такого хорошего приема. Прощайте, Анна Андреевна! Прощайте, моя душенька Марья Антоновна!

Выходят.

За сценой:

Голос Хлестакова. Прощайте, ангел души моей Марья Антоновна!

Голос городничего. Как же это вы? прямо так на перекладной и едете?

Голос Хлестакова. Да, я привык уж так. У меня голова болит от рессор.

Голос ямщика. Тпр…

Голос городничего. Так, по крайней мере, чем-нибудь застлать, хотя бы ковриком. Не прикажете ли, я велю подать коврик?

Голос Хлестакова. Нет, зачем? это пустое; а впрочем, пожалуй, пусть дают коврик.

Голос городничего. Эй, Авдотья! ступай в кладовую, вынь ковер самый лучший – что по голубому полю, персидский. Скорей!

Голос ямщика. Тпр…

Голос городничего. Когда же прикажете ожидать вас?

Голос Хлестакова. Завтра или послезавтра.

Голоса Осипа. А, это ковер? давай его сюда, клади вот так! Теперь давай-ка с этой стороны сена.

Голос ямщика. Тпр…

Голоса Осипа. Вот с этой стороны! сюда! еще! хорошо. Славно будет. *(Бьет рукою по ковру.)* Теперь садитесь, ваше благородие!

Голос Хлестакова. Прощайте, Антон Антонович!

Голос городничего. Прощайте, ваше превосходительство!

Женские голоса. Прощайте, Иван Александрович!

Голос Хлестакова. Прощайте, маменька!

Голос ямщика. Эй вы, залетные!

Колокольчик звенит. Занавес опускается.

Действие пятое

Та же комната

Явление I

***Городничий, Анна Андреевна** и **Марья Антоновна**.*

Городничий. Что, Анна Андреевна? а? Думала ли ты что-нибудь об этом? Этой богатый приз, канальство! Ну, признайся откровенно: тебе и во сне не виделось – просто из какой-нибудь городничихи и вдруг… фу ты, канальство!..с каким дьяволом породнилась!

Анна Андреевна. Совсем нет; я давно это знала. Это тебе в диковинку, потому что ты простой человек, никогда не видел порядочных людей.

Городничий. Я сам, матушка, порядочный человек. Однако ж, право, как подумаешь, Анна Андреевна, какие мы с тобой теперь птицы сделались! а, Анна Андреевна? Высокого полета, черт побери! Постой же, теперь я задам перцу все этим охотникам подавать просьбы и доносы. Эй, кто там?

*Входит **квартальный**.*

А, это ты, Иван Карпович! Призови-ка сюда, брат, купцов! Вот я их, каналий! Так жаловаться на меня? Вишь ты, проклятый иудейский народ! Постойте ж, голубчики! Прежде я вас кормил до усов только, а теперь накормлю до бороды. Запиши всех, кто только ходил бить челом на меня, и вот этих больше всего писак, писак, которые закручивали им просьбы. Да объяви всем, чтоб знали: что вот, дискать, какую честь бог послал городничему, – что выдает дочь свою не то чтобы за какого-нибудь простого человека, а за такого, что и на свете еще не было, что может все сделать, все, все, все! Всем объяви, чтобы все знали. Кричи во весь народ, валяй в колокола, черт возьми! Уж когда торжество, так торжество!

Квартальный уходит.

Так вот как, Анна Андреевна, а? Как же мы теперь, где будем жить? здесь или в Питере?

Анна Андреевна. Натурально, в Петербурге. Как можно здесь оставаться!

Городничий. Ну, в Питере так в Питере; а оно хорошо бы и здесь. Что, ведь, я думаю, уже городничество тогда к черту, а, Анна Андреевна?

Анна Андреевна. Натурально, что за городничество!

Городничий. Ведь оно, как ты думаешь, Анна Андреевна, теперь можно большой чин зашибить, потому что он запанибрата со всеми министрами и во дворец ездит, так поэтому может такое производство сделать, что со временем и в генералы влезешь. Как ты думаешь, Анна Андреевна: можно влезть в генералы?

Анна Андреевна. Еще бы! конечно, можно.

Городничий. А, черт возьми, славно быть генералом! Кавалерию повесят тебе через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна: красную или голубую?

Анна Андреевна. Уж конечно, голубую лучше.

Городничий. Э? вишь, чего захотела! хорошо и красную. Ведь почему хочется быть генералом? – потому что, случится, поедешь куда-нибудь – фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед: «Лошадей!» И там на станциях никому не дадут, все дожидается: все эти титулярные, капитаны, городничие, а ты себе и в ус не дуешь. Обедаешь где-нибудь у губернатора, а там – стой, городничий! Хе, хе, хе! *(Заливается и помирает со смеху.)* Вот что, канальство, заманчиво!

Анна Андреевна. Тебе все такое грубое нравится. Ты должен помнить, что жизнь нужно совсем переменить, что твои знакомые будут не то что какой-нибудь судья-собачник, с которым ты ездишь травить зайцев, или Земляника; напротив, знакомые твои будут с самым тонким обращением: графы и все светские… Только я, право, боюсь за тебя: ты иногда вымолвишь такое словцо, какого в хорошем обществе никогда не услышишь.

Городничий. Что ж? ведь слово не вредит.

Анна Андреевна. Да хорошо, когда ты был городничим. А там ведь жизнь совсем другая.

Городничий. Да, там, говорят есть две рыбицы: ряпушка и корюшка, такие, что только слюнка потечет, как начнешь есть.

Анна Андреевна. Ему все бы только рыбки! Я не иначе хочу, чтоб наш дом был первый в столице и чтоб у меня в комнате такое было амбре, чтоб нельзя было войти и нужно было только этак зажмурить глаза. *(Зажмуривает глаза и нюхает.)* Ах, как хорошо!

Явление II

Те же и купцы.

Городничий. А! Здорово, соколики!

Купцы*(кланяясь)*. Здравия желаем, батюшка!

Городничий. Что, голубчики, как поживаете? как товар идет ваш? Что, самоварники, аршинники, жаловаться? Архиплуты,

протобестии, надувалы мирские! жаловаться? Что, много взяли? Вот, думают, так в тюрьму его и засадят!.. Знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что…

Анна Андреевна. Ах, боже мой, какие ты, Антоша, слова отпускаешь!

Городничий*(с неудовольствием)*. А, не до слов теперь! Знаете ли, что тот самый чиновник, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочери? Что? а? что теперь скажете? Теперь я вас… у!.. обманываете народ… Сделаешь подряд с казною, на сто тысяч надуешь ее, поставивши гнилого сукна, да потом пожертвуешь двадцать аршин, да и давай тебе еще награду за это? Да если б знали, так бы тебе… И брюхо сует вперед: он купец, его не тронь. «Мы, говорит, и дворянам не уступим». Да дворянин… ах ты, рожа! – дворянин учится наукам: его хоть и секут в школе, да за дело, чтоб он знал полезное. А ты что? – начинаешь плутнями, тебя хозяин бьет за то, что не умеешь обманывать. Еще мальчишка, «Отче наша» не знаешь, а уж обмериваешь; а как разопрет тебе брюхо да набьешь себе карман, так и заважничал! Фу ты, какая невидаль! Оттого, что ты шестнадцать самоваров выдуешь в день, так оттого и важничаешь? Да я плевать на твою голову и на твою важность!

Купцы*(кланяясь)*. Виноваты, Антон Антонович!

Городничий. Жаловаться? А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерева на двадцать тысяч, тогда как его и на сто рублей не было? Я помог тебе, козлиная борода! Ты позабыл это? Я, показавши это на тебя, мог бы тебя также спровадить в Сибирь. Что скажешь? а?

Купцы. Богу виноваты, Антон Антонович! Лукавый попутал. И закаемся вперед жаловаться. Уж какое хошь удовлетворение, не гневись только!

Городничий. Не гневись! Вот ты теперь валяешься у ног моих. Отчего? – оттого, что мое взяло; а будь хоть немножко на твоей стороне, так ты бы меня, каналья, втоптал по самую грязь, еще бы и бревном сверху навалил.

Купцы*(кланяются в ноги)*. Не погуби, Антон Антонович!

Городничий. Не погуби! Теперь: не погуби! а прежде что? Я бы вас… *(Махнув рукой.)* Ну, да бог простит! полно! Я не памятозлобен; только теперь смотри держи ухо востро! Я выдаю дочку не за какого-нибудь простого дворянина: чтоб поздравление было… понимаешь? не то чтоб отбояриться каким-нибудь балычком или головою сахару… Ну, ступай с богом!

Купцы уходят.

Явление III

Те же, Аммос Федорович, Артемий Филиппович, *потом* ***Растаковский.***

Аммос Федорович*(еще в дверях.)* Верить ли слухам, Антон Антонович? к вам привалило необыкновенное счастие?

Артемий Филиппович. Имею честь поздравить с необыкновенным счастием. Я душевно обрадовался, когда услышал. *(Подходит к ручке Анны Андреевны.)* Анна Андреевна! *(Подходя к ручке Марьи Антоновны.)* Марья Антоновна!

Растаковский*(входит)*. Антона Антоновича поздравляю. Да продлит бог жизнь вашу и новой четы и даст вам потомство многочисленное внучат и правнучат! Анна Андреевна! *(Подходит к ручке Анны Андреевны.)* Марья Антоновна! *(Подходит к ручке Марьи Антоновны.)*

Явление IV

Те же, Коробкин с женою, Люлюков.

Коробкин. Имею честь поздравить Антона Антоновича! Анна Андреевна! *(Подходит к ручке Анны Андреевны.)* Марья Антоновна! *(Подходит к ее ручке.)*

Жена Коробкина. Душевно поздравляю вас, Анна Андреевна, с новым счастием.

Люлюков. Имею честь поздравить, Анна Андреевна! *(Подходит к ручке и потом, обратившись к зрителям, щелкает языком с видом удальства.)* Марья Антоновна! Имею честь поздравить. *(Подходит к ее ручке и обращается к зрителям с тем же удальством.)*

Явление V

Множество гостей в сюртуках и фраках подходят сначала к ручке Анны Андреевны, говоря: «Анна Андреевна!» – потом к Марье Антоновне, говоря: «Марья Антоновна!». **Бобчинский** и **Добчинский** проталкиваются.

Бобчинский. Имею честь поздравить!

Добчинский. Антон Антонович! имею честь поздравить!

Бобчинский. С благополучным происшествием!

Добчинский. Анна Андреевна!

Бобчинский. Анна Андреевна!

Оба подходят в одно и то же время и сталкиваются лбами.

Добчинский. Марья Антоновна! *(Подходит к ручке.)* Честь имею поздравить. Вы будете в большом, большом счастии, в

золотом платье и ходить и деликатные разные супы кушать; очень забавно будете проводить время.

Бобчинский*(перебивая)*. Марья Антоновна, имею честь поздравить! Да бог вам всякого богатства, червонцев и сынка-с этакого маленького, вон энтакого-с *(показывает рукою)*, что можно было на ладонку посадить, да-с! Все будет мальчишка кричать: уа! уа! уа!..

Явление VI

***Еще несколько гостей**, подходящих к ручкам.* ***Лука Лукич** с **женою**.*

Лука Лукич. Имею честь…

Жена Луки Лукича*(бежит вперед)*. Поздравляю вас, Анна Андреевна!

Целуются.

А я так, право, обрадовалась. Говорят мне: «Анна Андреевна выдает дочку». «Ах, боже мой!» – думаю себе, и так обрадовалась, что говорю мужу: «Послушай, Луканчик, вот так счастие Анне Андреевне!» «Ну, – думаю себе, – слава богу!» И говорю ему: «Я так восхищена, что сгораю нетерпением изъявить лично Анне Андреевне…» «Ах, боже мой! – думаю себе, – Анна Андреевна именно ожидала хорошей партии для своей дочери, а вот теперь такая судьба: именно так сделалось, как она хотела», – и так, право, обрадовалась, что не могла говорить. Плачу, плачу, просто рыдаю. Уже Лука Лукич говорит: «отчего ты, Настенька, рыдаешь?» – «Луканчик, говорю, я и сама не знаю, слезы так вот рекой и льются».

Городничий. Покорнейше прошу садиться, господа! Эй, Мишка, принеси сюда побольше стульев.

Гости садятся.

Явление VII

***Те же, частный пристав** и **квартальные**.*

Частный пристав. Имею честь поздравить вас, ваше высокоблагородие и поделать вам благоденствия на многие лета!

Городничий. Спасибо, спасибо! Прошу садиться, господа!

Гости усаживаются.

Аммос Федорович. Но скажите, пожалуйста, Антон Антонович, каким образом все это началось, постепенный ход всего, то есть, дела.

Городничий. Ход дела чрезвычайный: изволил собственнолично сделать предложение.

Анна Андреевна. Очень почтительным и самым тонким образом. Все чрезвычайно хорошо говорил. Говорит: «Я, Анна Андреевна, из одного только уважения к вашим достоинствам…» И такой прекрасный, воспитанный человек, самых благороднейших правил! «Мне, верите ли, Анна Андреевна, мне жизнь – копейка; я только потому, что уважаю ваши редкие качества».

Марья Антоновна. Ах, маменька! ведь это он мне говорил.

Анна Андреевна. Перестань, ты ничего не знаешь и не в свое дело не мешайся! «Я, Анна Андреевна, изумляюсь…» В таких лестных рассыпался словах… И когда я хотела сказать: «Мы никак не смеем надеяться на такую честь», – он вдруг упал на колени и таким самым благороднейшим образом: «Анна Андреевна, не сделайте меня несчастнейшим! согласитесь отвечать моим чувствам, не то я смертью окончу жизнь свою».

Марья Антоновна. Право, маменька, он обо мне это говорил.

Анна Андреевна. Да, конечно… и об тебе было, я ничего этого не отвергаю.

Городничий. И так даже напугал: говорил, что застрелится. «Застрелюсь, застрелюсь!» – говорит.

Многие из гостей. Скажите пожалуйста!

Аммос Федорович. Экая штука!

Лука Лукич. Вот подлинно, судьба уж так вела.

Артемий Филиппович. Не судьба, батюшка, судьба – индейка: заслуги привели к тому. *(В сторону.)* Этакой свинье лезет в рот всегда счастье!

Аммос Федорович. Я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам того кобелька, которого торговали.

Городничий. Нет, мне теперь не до кобельков.

Аммос Федорович. Ну, не хотите, на другой собаке сойдемся.

Жена Коробкина. Ах, как, Анна Андреевна, я рада вашему счастью! вы не можете себе представить.

Коробкин. Где ж теперь, позвольте узнать, находится именитый гость? Я слышал, что он уехал зачем-то.

Городничий. Да, он отправился на один день по весьма важному делу.

Анна Андреевна. К своему дяде, чтобы испросить благословения.

Городничий. Испросить благословения; но завтра же… *(Чихает.)*

Поздравления сливаются в один гул.

Много благодарен! Но завтра же и назад… *(Чихает.)*

Поздравительный гул; слышнее других голоса:

Частного пристава. Здравия желаем, ваше высокоблагородие!

Голос Бобчинского. Сто лет и куль червонцев!

Голос Добчинского. Продли бог на сорок сороков!

Артемия Филипповича. Чтоб ты пропал!

Жены Коробкина. Черт тебя побери!

Городничий. Покорнейше благодарю! И вам того ж желаю.

Анна Андреевна. Мы теперь в Петербурге намерены жить. А здесь, признаюсь, такой воздух… деревенский уж слишком!.. признаюсь, большая неприятность… Вот и муж мой… он там получит генеральский чин.

Городничий. Да, признаюсь, господа, я, черт возьми, очень хочу быть генералом.

Лука Лукич. И дай бог получить!

Растаковский. От человека невозможно, а от бога все возможно.

Аммос Федорович. Большому кораблю – большое плаванье.

Артемий Филиппович. По заслугам и честь.

Аммос Федорович*(в сторону)*. Вот выкинет штуку, когда в самом деле сделается генералом! Вот уж кому пристало генеральство, как корове седло! Ну, брат, до этого еще далека песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор еще не генералы.

Артемий Филиппович*(в сторону)*. Эка черт возьми, уж и в генералы лезет! Чего доброго, может, и будет генералом. Ведь у него важности, лукавый не взял бы его, довольно. *(Обращаясь к нему.)* Тогда, Антон Антонович, и нас не позабудьте.

Аммос Федорович. И если что случится, например какая-нибудь надобность по делам, не оставьте покровительством!

Коробкин. В следующем году повезу сынка в столицу на пользу государства, так сделайте милость, окажите ему вашу протекцию, место отца заступите сиротке.

Городничий. Я готов со своей стороны, готов стараться.

Анна Андреевна. Ты, Антоша, всегда готов обещать. Во-первых, тебе не будет времени думать об этом. И как можно и с какой стати себя обременять этакими обещаниями?

Городничий. Почему ж, душа моя? иногда можно.

Анна Андреевна. Можно, конечно, да ведь не всякой же мелюзге оказывать покровительство.

Жена Коробкина. Вы слышали, как она трактует нас?

Гостья. Да, она такова всегда была; я ее знаю: посади ее за стол, она и ноги свои…

Явление VIII

Те же и **почтмейстер** впопыхах, с распечатанным письмом в руке.

Почтмейстер. Удивительное дело, господа! Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор.

Все. Как не ревизор?

Почтмейстер. Совсем не ревизор, – я узнал это из письма…

Городничий. Что вы? что вы? из какого письма?

Почтмейстер. Да из собственного его письма. Приносят ко мне на почту письмо. Взглянул на адрес – вижу: «в Почтамтскую улицу». Я так и обомлел. «Ну, – думаю себе, – верно, нашел беспорядки по почтовой част и уведомляет начальство». Взял да и распечатал.

Городничий. Как же вы?..

Почтмейстер. Сам не знаю, неестественная сила побудила. Призвал было уже курьера, с тем чтобы отправить его с эштафетой, – но любопытство такое одолело, какого еще никогда не чувствовал. Не могу, не могу! слышу, что не могу! тянет, так вот и тянет! В одном ухе так вот и слышу: «Эй, не распечатывай! пропадешь, как курица»; а в другом словно бес какой шепчет: «Распечатай, распечатай, распечатай!» И как придавил сургуч – по жилам огонь, а распечатал – мороз, ей-богу мороз. И руки дрожат, и все помутилось.

Городничий. Да как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы?

Почтмейстер. В том-то и штука, что он не уполномоченный и не особа!

Городничий. Что ж он, по-вашему, такое?

Почтмейстер. Ни се ни то; черт знает что такое!

Городничий (запальчиво). как не се ни то? Как вы смеете назвать его ни тем ни сем, да еще и черт знает чем? Я вас под арест…

Почтмейстер. Кто? Вы?

Городничий. Да, я!

Почтмейстер. Коротки руки!

Городничий. Знаете ли, что он женится на моей дочери, что я сам буду вельможа, что я в самую Сибирь законопачу?

Почтмейстер. Эх, Антон Антонович! что Сибирь? далеко Сибирь. Вот лучше я вам прочту. Господа! позвольте прочитать письмо!

Все. Читайте, читайте!

Почтмейстер*(читает)*. «Спешу уведомить тебя, душа моя Тряпичкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня

кругом пехотный капитан, так что трактирщик хотел уже было посадить в тюрьму; как вдруг, по моей петербургской физиономии и по костюму, весь город принял меня за генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего, жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой; не решился только, с которой начать, – думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги. Помнишь, как мы с тобой бедствовали, обедали нашерамыжку и как один раз было кондитер схватил меня за воротник по поводу съеденных пирожков на счет доходов аглицкого короля? Теперь совсем другой оборот. Все мне дают взаймы сколько угодно. Оригиналы страшные. От смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки: помести их в свою литературу. Во-первых, городничий – глуп, как сивый мерин…»

Городничий. Не может быть этого! Там нет этого.

Почтмейстер*(показывает письмо)*. Читайте сами.

Городничий*(читает)*. «Как сивый мерин». Не может быть! вы это сами написали.

Почтмейстер. Как же бы я стал писать?

Артемий Филиппович. Читайте!

Лука Лукич. Читайте!

Почтмейстер*(продолжая читать)*. «Городничий – глуп, как сивый мерин…»

Городничий. О, черт возьми! нужно еще повторять! как будто оно там и без того не стоит.

Почтмейстер*(продолжая читать)*. Хм… хм… хм… хм… «сивый мерин. Почтмейстер тоже добрый человек…» *(Оставляя читать.)* Ну, тут обо мне тоже он неприлично выразился.

Городничий. Нет, читайте!

Почтмейстер. Да к чему ж?..

Городничий. Нет, черт возьми, когда уж читать, так читать! Читайте все!

Артемий Филиппович. Позвольте, я прочитаю. *(Надевает очки и читает.)* «Почтмейстер точь-в-точь наш департаментский сторож Михеев; должно быть, также, подлец пьет горькую».

Почтмейстер*(к зрителям.)* Ну, скверный мальчишка, которого надо высечь; больше ничего!

Артемий Филиппович*(продолжая читать)*. «Надзиратель над богоугодным заведе…и…и…и… *(Заикается.)*

Коробкин. А что ж вы остановились?

Артемий Филиппович. Да нечеткое перо… впрочем, видно, что негодяй.

Коробкин. Дайте мне! Вот у меня, я думаю, получше глаза. *(Берет письмо.)*

Артемий Филиппович*(не давая письмо)*. Нет, это место

можно пропустить, а там дальше разборчиво.

Коробкин. Да позвольте, уж я знаю.

Артемий Филиппович. Прочитать я и сам прочитаю; далее, право, все разборчиво.

Почтмейстер. Нет, все читайте! ведь прежде все читано.

Все. Отдайте, Артемий Филиппович, отдайте письмо! *(Коробкину.)* Читайте!

Артемий Филиппович. Сейчас. *(Отдает письмо.)* Вот, позвольте… *(Закрывает пальцем.)* Вот отсюда читайте.

Все приступают к нему.

Почтмейстер. Читайте, читайте! вздор, все читайте!

Коробкин *(читая)*. «Надзиратель над богоугодным заведением Земляника – совершенная свинья в ермолке».

Артемий Филиппович*(к зрителям)*. И неостроумно! Свинья в ермолке! где ж свинья бывает в ермолке?

Коробкин *(продолжая читать)*. «Смотритель училищ протухнул насквозь луком».

Лука Лукич *(к зрителям)*. Ей-богу, и в рот никогда не брал луку.

Аммос Федорович*(в сторону)*. Слава богу, хоть, по крайней мере, обо мне нет!

Коробкин *(читает)*. «Судья…»

Аммос Федорович. Вот тебе на! *(Вслух.)* Господа, я думаю, что письмо длинно. Да и черт ли в нем: дрянь этакую читать.

Лука Лукич. Нет!

Почтмейстер. Нет, читайте!

Артемий Филиппович. Нет уж, читайте!

Коробкин *(продолжает)*. «Судья Ляпкин-Тяпкин в сильнейшей степени моветон…» *(Останавливается.)* Должно быть, французское слово.

Аммос Федорович. А черт его знает, что оно значит! Еще хорошо, если только мошенник, а может быть, и того еще хуже.

Коробкин *(продолжая читать)*. «А впрочем, народ гостеприимный и добродушный. Прощай, душа Тряпичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить; хочешь, наконец, пищи для души. Вижу: точно нужно чем-нибудь высоким заняться. Пиши ко мне в Саратовскую губернию, а оттуда в деревню Подкатиловку. *(Переворачивает письмо и читает адрес.)* Его благородию, милостивому государю, Ивану Васильевичу Тряпичкину, в Почтамтскую улицу, в доме под нумером девяносто седьмым, поворотя на двор, в третьем этаже направо».

Одна из дам. Какой репримант неожиданный!

Городничий. Вот когда зарезал, так зарезал! Убит, убит,

совсем убит! Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего… Воротить, воротить его! *(Машет рукою.)* Куды воротить! Я, как нарочно, приказал смотрителю дать самую лучшую тройку; черт угораздил дать и вперед предписание.

Жена Коробкина. Вот уж точно, беспримерная конфузия!

Аммос Федорович. Однако ж, черт возьми, господа! он у меня взял триста рублей взаймы.

Артемий Филиппович. У меня тоже триста рублей.

Почтмейстер *(вздыхает)*. Ох! и у меня триста рублей.

Бобчинский. У нас с Петром Ивановичем шестьдесят пять-с на ассигнации-с, да-с.

Аммос Федорович*(в недоумении расставляет руки)*. Как же это, господа? Как это, в самом деле, мы так оплошали?

Городничий *(бьет себя по лбу)*. Как я – нет, как я, старый дурак? Выжил, глупый баран, из ума!.. Тридцать лет живу на службе; ни один купец, ни подрядчик не мог провести; мошенников над мошенниками обманывал, пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду! Трех губернаторов обманул!.. Что губернаторов! *(махнул рукой)* нечего и говорить про губернаторов…

Анна Андреевна. Но этого не может быть, Антоша: он обручился с Машенькой…

Городничий *(в сердцах)*. Обручился! Кукиш с маслом – вот тебе обручился! Лезет мне в глаза с обрученьем!.. *(В исступлении.)* Вот смотрите, смотрите, весь мир, все христианство, все смотрите, как одурачен городничий! Дурака ему, дурака, старому подлецу! *(Грозит самому себе кулаком.)* Эх ты, толстоносый! Сосульку, тряпку принял за важного человека! Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком! Разнесет по всему свету историю. Мало того что пойдешь в посмешище – найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что́ обидно! Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? – Над собою смеетесь!.. Эх вы!.. *(Стучит со злости ногами об пол.)* Я бы всех этих бумагомарак! У, щелкоперы, либералы проклятые! чертово семя! Узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех да черту в подкладку! в шапку туды ему!.. *(Сует кулаком и бьет каблуком в пол. После некоторого молчания.)* До сих пор не могу прийти в себя. Вот, подлинно, если бог хочет наказать, то отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе похожего на ревизора? Ничего не было! Вот просто на полмизинца не было похожего – и вдруг все: ревизор! ревизор! Ну кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте!

Артемий Филиппович *(расставляя руки)*. Уж как это

случилось, хоть убей, не могу объяснить. Точно туман какой-то ошеломил, черт попутал.

Аммос Федорович. Да кто выпустил – вот кто выпустил: эти молодцы! *(Показывает на Добчинского и Бобчинского.)*

Бобчинский. Ей-ей, не я! и не думал…

Добчинский. Я ничего, совсем ничего…

Артемий Филиппович. Конечно, вы.

Лука Лукич. Разумеется. Прибежали как сумасшедшие из трактира: «Приехал, приехал и денег не плотит…» Нашли важную птицу!

Городничий. Натурально, вы! сплетники городские, лгуны проклятые!

Артемий Филиппович. Чтоб вас черт побрал с вашим ревизором и рассказами!

Городничий. Только рыскает по городу и смущаете всех, трещотки проклятые! Сплетни сеете, сороки короткохвостые!

Аммос Федорович. Пачкуны проклятые!

Лука Лукич. Колпаки!

Артемий Филиппович. Сморчки короткобрюхие!

Все обступают их.

Бобчинский. Ей-богу, это не я, это Петр Иванович.

Добчинский. Э, нет, Петр Иванович, вы ведь первые того…

Бобчинский. А вот и нет; первые то были вы.

Явление последнее

***Те же* и *жандарм*.**

Жандарм. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице.

Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно взлетает из дамских уст; вся группа, вдруг переменивши положение, остается в окаменении.

Немая сцена

Городничий посередине в виде столба, с распростертыми руками и запрокинутой назад головою. По правую руку его жена и дочь с устремившимся к нему движеньем всего тела; за ними почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям; за ним Лука Лукич, потерявшийся самым невинным образом; за ним, у самого края сцены, три дамы, гостьи, прислонившиеся одна к другой с самым сатирическим выражением лица, относящимся прямо к семейству городничего. По левую

сторону городничего: Земляника, наклонивший голову несколько набок, как будто к чему-то прислушивающийся; за ним судья с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движенье губами, как бы хотел посвистать или произнесть: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» За ним Коробкин, обратившийся ко зрителям с прищуренным глазом и едким намеком на городничего; за ним, у самого края сцены, Бобчинский и Добчинский с устремившимися движеньями рук друг к другу, разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавес опускается.

Портрет

Часть I

Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинною лавочкою на Щукином дворе. Эта лавочка представляла, точно, самое разнородное собрание диковинок: картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком, в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубкою и выломанною рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человека, – вот их обыкновенные сюжеты. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений: портрет Хозрева-Мирзы в бараньей шапке, портреты каких-то генералов в треугольных шляпах, с кривыми носами. Сверх того, двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лубками на больших листах, которые свидетельствуют самородное дарованье русского человека. На одном была царевна Миликтриса Кирбитьевна, на другом город Иерусалим, по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах. Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей – куча. Какой-нибудь забулдыга лакей уже, верно, зевает перед ними, держа в руке судки с обедом из трактира для своего барина, который, без сомнения, будет хлебать суп не слишком горячий. Перед ним уже, верно, стоит в шинели солдат, этот кавалер толкучего рынка, продающий два перочинные ножика; торговка-охтенка с коробкою, наполненною башмаками. Всякий восхищается по-своему: мужики обыкновенно тыкают пальцами; кавалеры рассматривают серьезно; лакеи-мальчики и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами; старые лакеи во фризовых шинелях смотрят потому только, чтобы где-нибудь позевать; а торговки, молодые русские бабы, спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ, и посмотреть, на что он смотрит.

В это время невольно остановился перед лавкою проходивший мимо молодой художник Чартков. Старая шинель и нещегольское платье показывали в нем того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости. Он остановился перед лавкою и сперва внутренно смеялся над этими уродливыми картинами. Наконец овладело им невольное размышление: он стал думать о

том, кому бы нужны были эти произведения. Что русский народ заглядывается на *Еруслановых Лазаревичей*, на *объедал* и *обпивал*, на *Фому* и *Ерему*, это не казалось ему удивительным: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу; но где покупатели этих пестрых, грязных масляных малеваний? кому нужны эти фламандские мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывают какое-то притязание на несколько уже высший шаг искусства, но в котором выразилось все глубокое его унижение? Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки. Иначе в них бы, при всей бесчувственной карикатурности целого, вырывался острый порыв. Но здесь было видно просто тупоумие, бессильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала в ряды искусств, тогда как ей место было среди низких ремесл, бездарность, которая была верна, однако ж, своему призванию и внесла в самое искусство свое ремесло. Те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобыкшая рука, принадлежавшая скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку!.. Долго стоял он пред этими грязными картинами, уже наконец не думая вовсе о них, а между тем хозяин лавки, серенький человечек во фризовой шинели, с бородой, не бритой с самого воскресенья, толковал ему уже давно, торговался и условливался в цене, еще не узнав, что ему понравилось и что нужно.

– Вот за этих мужичков и за ландшафтик возьму беленькую. Живопись-то какая! Просто глаз прошибет; только что получены с биржи; еще лак не высох. Или вот зима, возьмите зиму! Пятнадцать рублей! Одна рамка чего стоит. Вон она какая зима! – Тут купец дал легкого щелчка в полотно, вероятно чтобы показать всю доброту зимы. – Прикажете связать их вместе и снести за вами? Где изволите жить? Эй, малый, подай веревочку.

– Постой, брат, не так скоро, – сказал очнувшийся художник, видя, что уж проворный купец принялся не в шутку их связывать вместе. Ему сделалось несколько совестно не взять ничего, застоявшись так долго в лавке, и он сказал:

– А вот постой, я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь, – и, наклонившись, стал доставать с полу наваленные громоздко, истертые, запыленные старые малеванья, не пользовавшиеся, как видно, никаким почетом. Тут были старинные фамильные портреты, которых потомков, может быть, и на свете нельзя было отыскать, совершенно неизвестные изображения с прорванным холстом, рамки, лишенные позолоты, – словом, всякий ветхий сор. Но художник принялся рассматривать, думая втайне: «Авось что-нибудь и отыщется». Он слышал не раз рассказы о том, как иногда у лубочных продавцов были отыскиваемы в сору картины великих мастеров.

Хозяин, увидев, куда полез он, оставил свою суетливость и, принявши обыкновенное положение и надлежащий вес, поместился сызнова у дверей, зазывая прохожих и указывая им одной рукой на лавку: «Сюда, батюшка, вот картины! зайдите, зайдите; с биржи получены». Уже накричался он вдоволь и большею частью бесплодно, наговорился досыта с лоскутным продавцом, стоявшим насупротив его также у дверей своей лавочки, и, наконец вспомнив, что у него в лавке есть покупатель, поворотил народу спину и отправился вовнутрь ее. «Что, батюшка, выбрали что-нибудь?» Но художник уже стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом в больших, когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты.

Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым; черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движенья и отзывались не северною силою. Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запылен портрет, но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен; но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание свое художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью. Когда поднес он портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти то же произвели они и в народе. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула: «Глядит, глядит», – и попятилась назад. Какое-то неприятное, непонятное самому себе чувство почувствовал он и поставил портрет на землю.

– А что ж, возьмите портрет! – сказал хозяин.

– А сколько? – сказал художник.

– Да что за него дорожиться? три четвертачка давайте!

– Нет.

– Ну, да что ж дадите?

– Двугривенный, – сказал художник, готовясь идти.

– Эк цену какую завернули! да за двугривенный одной рамки не купишь. Видно, завтра собираетесь купить? Господин, господин, воротитесь! гривенничек хоть прикиньте. Возьмите, возьмите, давайте двугривенный. Право, для почину только, вот только что первый покупатель.

Засим он сделал жест рукой, как будто бы говоривший: «Так уж и быть, пропадай картина!»

Таким образом Чартков совершенно неожиданно купил

старый портрет и в то же время подумал: «Зачем я его купил? на что он мне?» Но делать было нечего. Он вынул из кармана двугривенный, отдал хозяину, взял портрет под мышку и потащил его с собою. Дорогою он вспомнил, что двугривенный, который он отдал, был у него последний. Мысли его вдруг омрачились; досада и равнодушная пустота обняли его в ту же минуту. «Черт побери! гадко на свете!» – сказал он с чувством русского, у которого дела плохи. И почти машинально шел скорыми шагами, полный бесчувствия ко всему. Красный свет вечерней зари оставался еще на половине неба; еще домы, обращенные к той стороне, чуть озарялись ее теплым светом; а между тем уже холодное синеватое сиянье месяца становилось сильнее. Полупрозрачные легкие тени хвостами падали на землю, отбрасываемые домами и ногами пешеходцев. Уже художник начинал мало-помалу заглядываться на небо, озаренное каким-то прозрачным, тонким, сомнительным светом, и почти в одно время излетали из уст его слова: «Какой легкий тон!» – и слова: «Досадно, черт побери!» И он, поправляя портрет, беспрестанно съезжавший из-под мышек, ускорял шаг.

Усталый и весь в поту, дотащился он к себе в Пятнадцатую линию на Васильевский остров. С трудом и с отдышкой взобрался он по лестнице, облитой помоями и украшенной следами кошек и собак. На стук его в дверь не было никакого ответа: человека не было дома. Он прислонился к окну и расположился ожидать терпеливо, пока не раздались наконец позади его шаги парня в синей рубахе, его приспешника, натурщика, краскотерщика и выметателя полов, пачкавшего их тут же своими сапогами. Парень назывался Никитою и проводил все время за воротами, когда барина не было дома. Никита долго силился попасть ключом в замочную дырку, вовсе не заметную по причине темноты. Наконец дверь была отперта. Чартков вступил в свою переднюю, нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников, чего, впрочем, они не замечают. Не отдавая Никите шинели, он вошел вместе с нею в свою студию, квадратную комнату, большую, но низенькую, с мерзнувшими окнами, уставленную всяким художеским хламом: кусками гипсовых рук, рамками, обтянутыми холстом, эскизами, начатыми и брошенными, драпировкой, развешанной по стульям. Он устал сильно, скинул шинель, поставил рассеянно принесенный портрет между двух небольших холстов и бросился на узкий диванчик, о котором нельзя было сказать, что он обтянут кожею, потому что ряд медных гвоздиков, когда-то прикреплявших ее, давно уже остался сам по себе, а кожа осталась тоже сверху сама по себе, так что Никита засовывал под нее черные чулки, рубашки

и все немытое белье. Посидев и разлегшись, сколько можно было разлечься на этом узеньком диване, он наконец спросил свечу.

– Свечи нет, – сказал Никита.

– Как нет?

– Да ведь и вчера еще не было, – сказал Никита.

Художник вспомнил, что действительно и вчера еще не было свечи, успокоился и замолчал. Он дал себя раздеть и надел свой крепко и сильно заношенный халат.

– Да вот еще, хозяин был, – сказал Никита.

– Ну, приходил за деньгами? знаю, – сказал художник, махнув рукой.

– Да он не один приходил, – сказал Никита.

– С кем же?

– Не знаю, с кем… какой-то квартальный.

– А квартальный зачем?

– Не знаю зачем; говорит, затем, что за квартиру не плачено.

– Ну, что ж из того выйдет?

– Я не знаю, что выйдет; он говорил: коли не хочет, так пусть, говорит, съезжает с квартиры; хотели завтра еще прийти оба.

– Пусть их приходят, – сказал с грустным равнодушием Чартков. И ненастное расположение духа овладело им вполне.

Молодой Чартков был художник с талантом, пророчившим многое; вспышками и мгновениями его кисть отзывалась наблюдательностию, соображением, шибким порывом приблизиться более к природе. «Смотри, брат, – говорил ему не раз его профессор, – у тебя есть талант; грешно будет, если ты его погубишь. Но ты нетерпелив. Тебя одно что-нибудь заманит, одно что-нибудь тебе полюбится – ты им занят, а прочее у тебя дрянь, прочее тебе нипочем, ты уж и глядеть на него не хочешь. Смотри, чтоб из тебя не вышел модный живописец. У тебя и теперь уже что-то начинают слишком бойко кричать краски. Рисунок у тебя не строг, а подчас и вовсе слаб, линия не видна; ты уж гоняешься за модным освещеньем, за тем, что бьет на первые глаза. Смотри, как раз попадешь в английский род. Берегись; тебя уж начинает свет тянуть; уж я вижу у тебя иной раз на шее щегольской платок, шляпа с лоском… Оно заманчиво, можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи. Обдумывай всякую работу, брось щегольство – пусть их набирают другие деньги. Твое от тебя не уйдет».

Профессор был отчасти прав. Иногда хотелось, точно, нашему художнику кутнуть, щегольнуть – словом, кое-где показать свою молодость. Но при всем том он мог взять над собою власть. Временами он мог позабыть все, принявшись за кисть, и

отрывался от нее не иначе, как от прекрасного прерванного сна. Вкус его развивался заметно. Еще не понимал он всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой, широкой кистью Гвида, останавливался перед портретами Тициана, восхищался фламандцами. Еще потемневший облик, облекающий старые картины, не весь сошел пред ним; но он уже прозревал в них кое-что, хотя внутренно не соглашался с профессором, чтобы старинные мастера так недосягаемо ушли от нас; ему казалось даже, что девятнадцатый век кое в чем значительно их опередил, что подражание природе как-то сделалось теперь ярче, живее, ближе; словом, он думал в этом случае так, как думает молодость, уже постигшая кое-что и чувствующая это в гордом внутреннем сознании. Иногда становилось ему досадно, когда он видел, как заезжий живописец, француз или немец, иногда даже вовсе не живописец по призванью, одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красок производил всеобщий шум и скапливал себе вмиг денежный капитал. Это приходило к нему на ум не тогда, когда, занятый весь своей работой, он забывал и питье, и пищу, и весь свет, но тогда, когда наконец сильно приступала необходимость, когда не на что было купить кистей и красок, когда неотвязчивый хозяин приходил раз по десяти на день требовать платы за квартиру. Тогда завидно рисовалась в голодном его воображенье участь богача-живописца; тогда пробегала даже мысль, пробегающая часто в русской голове: бросить все и закутить с горя назло всему. И теперь он почти был в таком положении.

– Да! терпи, терпи! – произнес он с досадою. – Есть же наконец и терпенью конец. Терпи! а на какие деньги я завтра буду обедать? Взаймы ведь никто не даст. А понеси я продавать все мои картины и рисунки, за них мне за все двугривенный дадут. Они полезны, конечно, я это чувствую: каждая из них предпринята недаром, в каждой из них я что-нибудь узнал. Да ведь что пользы? этюды, попытки – и всё будут этюды, попытки, и конца не будет им. Да и кто купит, не зная меня по имени? да и кому нужны рисунки с антиков из натурного класса, или моя неоконченная любовь Психеи, или перспектива моей комнаты, или портрет моего Никиты, хотя он, право, лучше портретов какого-нибудь модного живописца? Что, в самом деле? Зачем я мучусь и, как ученик, копаюсь над азбукой, тогда как мог бы блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами.

Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел: на него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Два страшные глаза прямо

вперились в него, как бы готовясь сожрать его; на устах написано было грозное повеленье молчать. Испуганный, он хотел вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успел запустить в своей передней богатырское храпенье; но вдруг остановился и засмеялся. Чувство страха отлегло вмиг. Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озаривши комнату, упало и на него и сообщило ему странную живость. Он принялся его рассматривать и оттирать. Омакнул в воду губку, прошел ею по нем несколько раз, смыл с него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повесил перед собой на стену и подивился еще более необыкновенной работе: все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него так, что он наконец вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным голосом: «Глядит, глядит человеческими глазами!» Ему пришла вдруг на ум история, слышанная давно им от своего профессора, об одном портрете знаменитого Леонардо да Винчи, над которым великий мастер трудился несколько лет и все еще почитал его неоконченным и который, по словам Вазари, был, однако же, почтен от всех за совершеннейшее и окончательнейшее произведение искусства. Окончательнее всего были в нем глаза, которым изумлялись современники; даже малейшие, чуть видные в них жилки были не упущены и приданы полотну. Но здесь, однако же, в сем, ныне бывшем пред ним, портрете было что-то странное. Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда. Здесь не было уже того высокого наслажденья, которое объемлет душу при взгляде на произведение художника, как ни ужасен взятый им предмет; здесь было какое-то болезненное, томительное чувство. «Что это? – невольно вопрошал себя художник. – Ведь это, однако же, натура, это живая натура; отчего же это странно-неприятное чувство? Или рабское, буквальное подражание натуре есть уже проступок и кажется ярким, нестройным криком? Или, если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной своей действительности, не озаренный светом какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли, предстанет в той действительности, какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекрасного человека, вооружаешься анатомическим ножом, рассекаешь его внутренность и видишь отвратительного человека? Почему же простая, низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления; напротив, кажется, как будто насладился, и после того спокойнее и ровнее

все течет и движется вокруг тебя? И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а между прочим, он так же был верен природе? Но нет, нет в ней чего-то озаряющего. Все равно как вид в природе: как он ни великолепен, а все недостает чего-то, если нет на небе солнца».

Он опять подошел к портрету, с тем чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры, это была та странная живость, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы. Свет ли месяца, несущий с собой бред мечты и облекающий все в иные образы, противоположные положительному дню, или что другое было причиною тому, только ему сделалось вдруг, неизвестно отчего, страшно сидеть одному в комнате. Он тихо отошел от портрета, отворотился в другую сторону и старался не глядеть на него, а между тем глаз невольно, сам собою, косясь, окидывал его. Наконец ему сделалось даже страшно ходить по комнате; ему казалось, как будто сей же час кто-то другой станет ходить позади его, и всякий раз робко оглядывался он назад. Он не был никогда труслив; но воображенье и нервы его были чутки, и в этот вечер он сам не мог истолковать себе своей невольной боязни. Он сел в уголок, но и здесь казалось ему, что кто-то вот-вот взглянет через плечо к нему в лицо. Самое храпенье Никиты, раздававшееся из передней, не прогоняло его боязни. Он наконец робко, не подымая глаз, поднялся с своего места, отправился к себе за ширму и лег в постель. Сквозь щелки в ширмах он видел освещенную месяцем свою комнату и видел прямо висевший на стене портрет. Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него. Полный тягостного чувства, он решился встать с постели, схватил простыню и, приблизясь к портрету, закутал его всего.

Сделавши это, он лег в постель покойнее, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете; а между тем глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный простынею портрет. Сиянье месяца усиливало белизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. Со страхом вперил он пристальнее глаза, как бы желая увериться, что это вздор. Но наконец уже в самом деле… он видит, видит ясно: простыни уже нет… портрет открыт весь и глядит мимо всего, что ни есть вокруг, прямо в него, глядит просто к нему вовнутрь… У него захолонуло сердце. И видит: старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам… Сквозь щелку ширм видны были уже одни только пустые рамы.

По комнате раздался стук шагов, который наконец становился ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильнее колотиться у бедного художника. С занявшимся от страха дыханьем он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик. И вот он глянул, точно, за ширмы, с тем же бронзовым лицом и поводя большими глазами. Чартков силился вскрикнуть – и почувствовал, что у него нет голоса, силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь движенье – не движутся члены. С раскрытым ртом и замершим дыханьем смотрел он на этот страшный фантом высокого роста, в какой-то широкой азиатской рясе, и ждал, что станет он делать. Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья. Это был мешок. Старик развязал его и, схвативши за два конца, встряхнул: с глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков; каждый был завернут в синюю бумагу, и на каждом было выставлено: «1000 червонных». Высунув свои длинные костистые руки из широких рукавов, старик начал разворачивать свертки. Золото блеснуло. Как ни велико было тягостное чувство и обеспамятевший страх художника, но он вперился весь в золото, глядя неподвижно, как оно разворачивалось в костистых руках, блестело, звенело тонко и глухо и заворачивалось вновь. Тут заметил он один сверток, откатившийся подалее от других, у самой ножки его кровати, в головах у него. Почти судорожно схватил он его и, полный страха, смотрел, не заметит ли старик. Но старик был, казалось, очень занят. Он собрал все свертки свои, уложил их снова в мешок и, не взглянувши на него, ушел за ширмы. Сердце билось сильно у Чарткова, когда он услышал, как раздавался по комнате шелест удалявшихся шагов. Он сжимал покрепче сверток свой в руке, дрожа всем телом за него, и вдруг услышал, что шаги вновь приближаются к ширмам, – видно, старик вспомнил, что недоставало одного свертка. И вот – он глянул к нему вновь за ширмы. Полный отчаяния, стиснул он всею силою в руке своей сверток, употребил все усилие сделать движенье, вскрикнул – и проснулся.

Холодный пот облил его всего; сердце его билось так сильно, как только можно было биться; грудь была так стеснена, как будто хотело улететь из нее последнее дыханье. «Неужели это был сон?» – сказал он, взявши себя обеими руками за голову, но страшная живость явленья не была похожа на сон. Он видел, уже пробудившись, как старик ушел в рамки, мелькнула даже пола его широкой одежды, и рука его чувствовала ясно, что держала за минуту пред сим какую-то тяжесть. Свет месяца озарял комнату, заставляя выступать из темных углов ее где холст, где гипсовую руку, где оставленную на стуле драпировку, где панталоны и

нечищеные сапоги. Тут только заметил он, что не лежит в постеле, а стоит на ногах прямо перед портретом. Как он добрался сюда – уж этого никак не мог он понять. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь и простыни на нем действительно не было. С неподвижным страхом глядел он на него и видел, как прямо вперились в него живые человеческие глаза. Холодный пот выступил на лице его; он хотел отойти, но чувствовал, что ноги его как будто приросли к земле. И видит он: это уже не сон: черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто бы хотели его высосать… С воплем отчаянья отскочил он – и проснулся.

«Неужели и это был сон?» С биющимся на разрыв сердцем ощупал он руками вокруг себя. Да, он лежит на постеле в таком точно положенье, как заснул. Пред ним ширмы; спет месяца наполнял комнату. Сквозь щель в ширмах – виден был портрет, закрытый как следует простынею, – так, как он сам закрыл его. Итак, это был тоже сон! Но сжатая рука чувствует доныне, как будто бы в ней что-то было. Биение сердца было сильно, почти страшно; тягость в груди невыносимая. Он вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. И вот видит ясно, что простыня начинает раскрываться, как будто бы под нею барахтались руки и силились ее сбросить. «Господи, Боже мой, что это!» – вскрикнул он, крестясь отчаянно, и проснулся.

И это был также сон! Он вскочил с постели, полоумный, обеспамятевший, и уже не мог изъяснить, что это с ним делается: давленье ли кошмара или домового, бред ли горячки или живое виденье. Стараясь утишить сколько-нибудь душевное волненье и расколыхнувшуюся кровь, которая билась напряженным пульсом по всем его жилам, он подошел к окну и открыл форточку. Холодный пахнувший ветер оживил его. Лунное сияние лежало все еще на крышах и белых стенах домов, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо: изредка долетало до слуха отдаленное дребезжанье дрожек извозчика, который где-нибудь в невидном переулке спал, убаюкиваемый своею ленивою клячею, поджидая запоздалого седока. Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари; наконец почувствовал он приближающуюся дремоту, захлопнул форточку, отошел прочь, лег в постель и скоро заснул как убитый, самым крепким сном.

Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара; голова его неприятно болела. В комнате было тускло; неприятная мокрота сеялась в воздухе и проходила сквозь щели его окон, заставленные картинами или нагрунтованным холстом.

Пасмурный, недовольный, как мокрый петух, уселся он на своем оборванном диване, не зная сам, за что приняться, что делать, и вспомнил наконец весь свой сон. По мере припоминанья сон этот представлялся в его воображенье так тягостно жив, что он даже стал подозревать, точно ли это был сон и простой бред, не было ли здесь чего-то другого, не было ли это виденье. Сдернувши простыню, он рассмотрел при дневном свете этот страшный портрет. Глаза, точно, поражали своей необыкновенной живостью, но ничего он не находил в них необыкновенно страшного; только как будто какое-то неизъяснимое, неприятное чувство оставалось на душе. При всем том он все-таки не мог совершенно увериться, что это был сон. Ему казалось, что среди сна был какой-то страшный отрывок из действительности. Казалось, даже в самом взгляде и выражении старика как будто что-то говорило, что он был у него эту ночь; рука его чувствовала только что лежавшую в себе тяжесть, как будто бы кто-то за одну только минуту пред сим ее выхватил у него. Ему казалось, что, если бы он держал покрепче сверток, он, верно, остался бы у него в руке и после пробуждения.

«Боже мой, если бы хотя часть этих денег!» – сказал он, тяжело вздохнувши, и в воображенье его стали высыпаться из мешка все виденные им свертки с заманчивой надписью: «1000 червонных». Свертки разворачивались, золото блестело, заворачивалось вновь, и он сидел, уставивши неподвижно и бессмысленно свои глаза в пустой воздух, не будучи в состоянье оторваться от такого предмета, – как ребенок, сидящий пред сладким блюдом и видящий, глотая слюнки, как едят его другие. Наконец у дверей раздался стук, заставивший его неприятно очнуться. Вошел хозяин с квартальным надзирателем, которого появление для людей мелких, как известно, еще неприятнее, нежели для богатых лицо просителя. Хозяин небольшого дома, в котором жил Чартков, был одно из творений, какими обыкновенно бывают владетели домов где-нибудь в Пятнадцатой линии Васильевского острова, на Петербургской стороне или в отдаленном углу Коломны, – творенье, каких много на Руси и которых характер так же трудно определить, как цвет изношенного сюртука. В молодости своей он был капитан и крикун, употреблялся и по штатским делам, мастер был хорошо высечь, был и расторопен, и щеголь, и глуп; но в старости своей он слил в себе все эти резкие особенности в какую-то тусклую неопределенность. Он был уже вдов, был уже в отставке, уже не щеголял, не хвастал, не задирался, любил только пить чай и болтать за ним всякий вздор; ходил по комнате, поправлял сальный огарок; аккуратно по истечении каждого месяца

наведывался к своим жильцам за деньгами; выходил на улицу с ключом в руке, для того чтобы посмотреть на крышу своего дома; выгонял несколько раз дворника из его конуры, куда он запрятывался спать; одним слоном, человек в отставке, которому после всей забубенной жизни и тряски на перекладных остаются одни пошлые привычки.

– Извольте сами глядеть, Варух Кузьмич, – сказал хозяин, обращаясь к квартальному и расставив руки, – вот не платит за квартиру, не платит.

– Что ж, если нет денег? Подождите, я заплачу.

– Мне, батюшка, ждать нельзя, – сказал хозяин в сердцах, делая жест ключом, который держал в руке, – у меня вот Потогонкин подполковник живет, семь лет уж живет; Анна Петровна Бухмистерова и сарай и конюшню нанимает на два стойла, три при ней дворовых человека, – вот какие у меня жильцы. У меня, сказать вам откровенно, нет такого заведенья, чтобы не платить за квартиру. Извольте сейчас же заплатить деньги, да и съезжать вон.

– Да, уж если порядились, так извольте платить, – сказал квартальный надзиратель, с небольшим потряхиваньем головы и заложив палец за пуговицу своего мундира.

– Да чем платить? – вопрос. У меня нет теперь ни гроша.

– В таком случае удовлетворите Ивана Ивановича издельями своей профессии, – сказал квартальный, – он, может быть, согласится взять картинами.

– Нет, батюшка, за картины спасибо. Добро бы были картины с благородным содержанием, чтобы можно было на стену повесить, хоть какой-нибудь генерал со звездой или князя Кутузова портрет, а то вон мужика нарисовал, мужика в рубахе, слухи-то, что трет краски. Еще с него, свиньи, портрет рисовать; ему я шею наколочу: он у меня все гвозди из задвижек повыдергивал, мошенник. Вот посмотрите, какие предметы: вот комнату рисует. Добро бы уж взял комнату прибранную, опрятную, а он вон как нарисовал ее, со всем сором и дрязгом, какой ни валялся. Вот посмотрите, как запакостил у меня комнату, изволите сами видеть. Да у меня по семи лет живут жильцы, полковники, Бухмистерова Анна Петровна… Нет, я вам скажу: нет хуже жильца, как живописец: свинья свиньей живет, просто не приведи Бог.

И все это должен был выслушать терпеливо бедный живописец. Квартальный надзиратель между тем занялся рассматриваньем картин и этюдов и тут же показал, что у него душа живее хозяйской и даже была не чужда художественным впечатлениям.

– Хе, – сказал он, тыкнув пальцем на один холст, где была изображена нагая женщина, – предмет, того… игривый. А у этого зачем так под носом черно? табаком, что ли, он себе засыпал?

– Тень, – отвечал на это сурово и не обращая на него глаз Чартков.

– Ну, ее бы можно куда-нибудь в другое место отнести, а под носом слишком видное место, – сказал квартальный, – а это чей портрет? – продолжал он, подходя к портрету старика, – уж страшен слишком. Будто он в самом деле был такой страшный; ахти, да он просто глядит! Эх, какой Громобой! С кого вы писали?

– А это с одного… – сказал Чартков и не кончил слова: послышался треск. Квартальный пожал, видно, слишком крепко раму портрета, благодаря топорному устройству полицейских рук своих; боковые досточки вломились вовнутрь, одна упала на пол, и вместе с нею упал, тяжело звякнув, сверток в синей бумаге. Чарткову бросилась в глаза надпись: «1000 червонных». Как безумный бросился он поднять его, схватил сверток, сжал его судорожно в руке, опустившейся вниз от тяжести.

– Никак, деньги зазвенели, – сказал квартальный, услышавший стук чего-то упавшего на пол и не могший увидать его за быстротой движенья, с какою бросился Чартков прибрать.

– А вам какое дело знать, что у меня есть?

– А такое дело, что вы сейчас должны заплатить хозяину за квартиру; что у вас есть деньги, да вы не хотите платить, – вот что.

– Ну, я заплачу ему сегодня.

– Ну, а зачем же вы не хотели заплатить прежде, да доставляете беспокойство хозяину, да вот и полицию тоже тревожите?

– Потому что этих денег мне не хотелось трогать; я ему сегодня же ввечеру все заплачу и съеду с квартиры завтра же, потому что не хочу оставаться у такого хозяина.

– Ну, Иван Иванович, он вам заплатит, – сказал квартальный, обращаясь к хозяину. – А если насчет того, что вы не будете удовлетворены как следует сегодня ввечеру, тогда уж извините, господин живописец.

Сказавши это, он надел свою треугольную шляпу и вышел в сени, а за ним хозяин, держа вниз голову и, как казалось, в каком-то раздумье.

– Слава Богу, черт их унес! – сказал Чартков, когда услышал затворившуюся в передней дверь.

Он выглянул в переднюю, услал за чем-то Никиту, чтобы быть совершенно одному, запер за ним дверь и, возвратившись к себе в комнату, принялся с сильным сердечным трепетаньем

разворачивать сверток. В нем были червонцы, все до одного новые, жаркие, как огонь. Почти обезумев, сидел он за золотою кучею, все еще спрашивая себя, не во сне ли все это. В свертке было ровно их тысяча; наружность его была совершенно такая, в какой они виделись ему во сне. Несколько минут он перебирал их, пересматривал, и все еще не мог прийти в себя. В воображении его воскресли вдруг все истории о кладах, шкатулках с потаенными ящиками, оставляемых предками для своих разорившихся внуков, в твердой уверенности на будущее их промотавшееся положение. Он мыслил так: «Не придумал ли и теперь какой-нибудь дедушка оставить своему внуку подарок, заключив его в рамку фамильного портрета?» Полный романического бреда, он стал даже думать, нет ли здесь какой-нибудь тайной связи с его судьбою: не связано ли существованье портрета с его собственным существованьем, и самое приобретение его не есть ли уже какое-то предопределение? Он принялся с любопытством рассматривать рамку портрета. В одном боку ее был выдолбленный желоб, задвинутый дощечкой так ловко и неприметно, что если бы капитальная рука квартального надзирателя не произвела пролома, червонцы остались бы до скончания века в покое. Рассматривая портрет, он подивился вновь высокой работе, необыкновенной отделке глаз; они уже не казались ему страшными, но все еще в душе оставалось всякий раз невольно неприятное чувство. «Нет, – сказал он сам в себе, – чей бы ты ни был дедушка, а я тебя поставлю за стекло и сделаю тебе за это золотые рамки». Здесь он набросил руку на золотую кучу, лежавшую пред ним, и сердце забилось сильно от такого прикосновенья. «Что с ними сделать? – думал он, уставив на них глаза. – Теперь я обеспечен, по крайней мере, на три года, могу запереться в комнату, работать. На краски теперь у меня есть; на обед, на чай, на содержанье, на квартиру есть; мешать и надоедать мне теперь никто не станет; куплю себе отличный манкен, закажу гипсовый торсик, сформую ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюр с первых картин. И если поработаю три года для себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех, и могу быть славным художником».

Так говорил он заодно с подсказывавшим ему рассудком; но извнутри раздавался другой голос, слышнее и звонче. И как взглянул он еще раз на золото, не то заговорили в нем двадцать два года и горячая юность. Теперь в его власти было все то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. Ух, как в нем забилось ретивое, когда он только подумал о том! Одеться в модный фрак, разговеться после долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же

час в театр, в кондитерскую, в… и прочее, – и он, схвативши деньги, был уже на улице.

Прежде всего зашел к портному, оделся с ног до головы и, как ребенок, стал обсматривать себя беспрестанно; накупил духов, помад, нанял, не торгуясь, первую попавшуюся великолепнейшую квартиру на Невском проспекте, с зеркалами и цельными стеклами; купил нечаянно в магазине дорогой лорнет, нечаянно накупил тоже бездну всяких галстуков, более, нежели было нужно, завил у парикмахера себе локоны, прокатился два раза по городу в карете без всякой причины, объелся без меры конфектов в кондитерской и зашел к ресторану-французу, о котором доселе слышал такие же неясные слухи, как о китайском государстве. Там он обедал подбоченившись, бросая довольно гордые взгляды на других и поправляя беспрестанно против зеркала завитые локоны. Там он выпил бутылку шампанского, которое тоже доселе было ему знакомо более по слуху. Вино несколько зашумело в голове, и он вышел на улицу живой, бойкий, по русскому выражению: черту не брат. Прошелся по тротуару гоголем, наводя на всех лорнет. На мосту заметил он своего прежнего профессора и шмыгнул лихо мимо его, как будто бы не заметив его вовсе, так что остолбеневший профессор долго еще стоял неподвижно на мосту, изобразив вопросительный знак на лице своем.

Все вещи и все, что ни было: станок, холст, картины – были в тот же вечер перевезены на великолепную квартиру. Он расставил то, что было получше, на видные места, что похуже – забросил в угол и расхаживал по великолепным комнатам, беспрестанно поглядывая в зеркала. В душе его возродилось желанье непреоборимое схватить славу сей же час за хвост и показать себя свету. Уже чудились ему крики: «Чартков, Чартков! видали вы картину Чарткова? Какая быстрая кисть у Чарткова! Какой сильный талант у Чарткова!» Он ходил в восторженном состоянии у себя по комнате, уносился невесть куда. На другой же день, взявши десяток червонцев, отправился он к одному издателю ходячей газеты, прося великодушной помощи; был принят радушно журналистом, назвавшим его тот же час «почтеннейший», пожавшим ему обе руки, расспросившим подробно об имени, отчестве, месте жительства, и на другой же день появилась в газете вслед за объявлением о новоизобретенных сальных свечах статья с таким заглавием: *«О необыкновенных талантах Чарткова»:* «Спешим обрадовать образованных жителей столицы прекрасным, можно сказать, во всех отношениях приобретением. Все согласны в том, что у нас есть много прекраснейших физиогномий и прекраснейших лиц,

но не было до сих пор средства передать их на чудотворный холст, для передачи потомству; теперь недостаток этот пополнен: отыскался художник, соединяющий в себе что нужно. Теперь красавица может быть уверена, что она будет передана со всей грацией своей красоты воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобной мотылькам, порхающим по весенним цветкам. Почтенный отец семейства увидит себя окруженным своей семьей. Купец, воин, гражданин, государственный муж – всякий: с новой ревностью будет продолжать свое поприще. Спешите, спешите, заходите с гулянья, с прогулки, предпринятой к приятелю, к кузине, в блестящий магазин, спешите, откуда бы ни было. Великолепная мастерская художника (Невский проспект, такой-то номер) уставлена вся портретами его кисти, достойной Вандиков и Тицианов. Не знаешь, чему удивляться: верности ли и сходству с оригиналами или необыкновенной яркости и свежести кисти. Хвала вам, художник! вы вынули счастливый билет из лотереи. Виват, Андрей Петрович (журналист, как видно, любил фамильярность)! Прославляйте себя и нас. Мы умеем ценить вас. Всеобщее стечение, а вместе с тем и деньги, хотя некоторые из нашей же братьи журналистов и восстают против них, будут вам наградою».

С тайным удовольствием прочитал художник это объявление; лицо его просияло. О нем заговорили печатно – это было для него новостию; несколько раз перечитывал он строки. Сравнение с Вандиком и Тицианом ему сильно польстило. Фраза «Виват, Андрей Петрович!» также очень понравилась; печатным образом называют его по имени и по отчеству – честь, доныне ему совершенно неизвестная. Он начал ходить скоро по комнате, ерошить себе волоса, то садился на кресла, то вскакивал с них и садился на диван, представляя поминутно, как он будет принимать посетителей и посетительниц, подходил к холсту и производил над ним лихую замашку кисти, пробуя сообщить грациозные движения руке. На другой день раздался колокольчик у дверей его; он побежал отворять. Вошла дама, предводимая лакеем в ливрейной шинели на меху, и вместе с дамой вошла молоденькая восемнадцатилетняя девочка, дочь ее.

– Вы мсьё Чартков? – сказала дама.

Художник поклонился.

– Об вас столько пишут; ваши портреты, говорят, верх совершенства. – Сказавши это, дама наставила на глаз лорнет и побежала быстро осматривать стены, на которых ничего не было. – А где же ваши портреты?

– Вынесли, – сказал художник, несколько смешавшись, – я только что переехал еще на эту квартиру, так они еще в дороге…

не доехали.

– Вы были в Италии? – сказала дама, наводя на него лорнет, не найдя ничего другого, на что бы можно было навесть его.

– Нет, я не был, но хотел быть… впрочем, теперь покамест я отложил… Вот кресла-с, вы устали?..

– Благодарю, я сидела долго в карете. А, вон наконец вижу вашу работу! – сказала дама, побежав к супротивной стене и наводя лорнет на стоявшие на полу его этюды, программы, перспективы и портреты. – C'est charmant! Lise, Lise, venez ici![1] Комната во вкусе Теньера, видишь: беспорядок, беспорядок, стол, на нем бюст, рука, палитра; вон пыль, – видишь, как пыль нарисована! C'est charmant! А вот на другом холсте женщина, моющая лицо, – quelle jolie figure![2] Ах, мужичок! Lise, Lise, мужичок в русской рубашке! смотри: мужичок! Так вы занимаетесь не одними только портретами?

– О, это вздор… Так, шалил… этюды…

– Скажите, какого вы мнения насчет нынешних портретистов? Не правда ли, теперь нет таких, как был Тициан? Нет той силы в колорите, нет той… как жаль, что я не могу вам выразить по-русски (дама была любительница живописи и оббегала с лорнетом все галереи в Италии). Однако мсьё Ноль… ах, как он пишет! Какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него даже больше выраженья в лицах, нежели у Тициана. Вы не знаете мсьё Ноля?

– Кто этот Ноль? – спросил художник.

– Мсьё Ноль. Ах, какой талант! он написал с нее портрет, когда ей было только двенадцать лет. Нужно, чтобы вы непременно у нас были. Lise, ты ему покажи свой альбом. Вы знаете, что мы приехали с тем, чтобы сей же час начали с нее портрет.

– Как же, я готов сию минуту.

И в одно мгновенье придвинул он станок с готовым холстом, взял в руки палитру, вперил глаз в бледное личико дочери. Если бы он был знаток человеческой природы, он прочел бы на нем в одну минуту начало ребяческой страсти к балам, начало тоски и жалоб на длинноту времени до обеда и после обеда, желанья побегать в новом платье на гуляньях, тяжелые следы безучастного прилежания к разным искусствам, внушаемого матерью для возвышения души и чувств. Но художник видел в этом нежном личике одну только заманчивую для кисти почти фарфоровую прозрачность тела, увлекательную легкую томность, тонкую светлую шейку и аристократическую легкость стана. И уже заранее готовился торжествовать, показать легкость и блеск своей кисти, имевшей доселе дело только с жесткими чертами грубых

моделей, с строгими антиками и копиями кое-каких классических мастеров. Он уже представлял себе в мыслях, как выйдет это легонькое личико.

– Знаете ли, – сказала дама с несколько даже трогательным выражением лица, – я бы хотела… на ней теперь платье; я бы, признаюсь, не хотела, чтобы она была в платье, к которому мы так привыкли; я бы хотела, чтоб она была одета просто и сидела бы в тени зелени, в виду каких-нибудь полей, чтобы стада вдали или роща… чтобы незаметно было, что она едет куда-нибудь на бал или модный вечер. Наши балы, признаюсь, так убивают душу, так умерщвляют остатки чувств… простоты, простоты чтобы было больше.

Увы! на лицах и матушки и дочери написано было, что они до того исплясались на балах, что обе сделались чуть не восковыми.

Чартков принялся за дело, усадил оригинал, сообразил несколько все это в голове; провел по воздуху кистью, мысленно устанавливая пункты; прищурил несколько глаз, подался назад, взглянул издали – и в один час начал и кончил подмалевку. Довольный ею, он принялся уже писать, работа его завлекла. Уже он позабыл все, позабыл даже, что находится в присутствии аристократических дам, начал даже выказывать иногда кое-какие художнические ухватки, произнося вслух разные звуки, временами подпевая, как случается с художником, погруженным всею душою в свое дело. Без всякой церемонии, одним движеньем кисти заставлял он оригинал поднимать голову, который наконец начал сильно вертеться и выражать совершенную усталость.

– Довольно, на первый раз довольно, – сказала дама.

– Еще немножко, – говорил позабывшийся художник.

– Нет, пора! Lise, три часа! – сказала она, вынимая маленькие часы, висевшие на золотой цепи у ее кушака, и вскрикнула – Ах, как поздно!

– Минуточку только, – говорил Чартков простодушным и просящим голосом ребенка.

Но дама, кажется, совсем не была расположена угождать на этот раз его художественным потребностям и обещала вместо того просидеть в другой раз долее.

«Это, однако ж, досадно, – подумал про себя Чартков, – рука только что расходилась». И вспомнил он, что его никто не перебивал и не останавливал, когда он работал в своей мастерской на Васильевском острове; Никита, бывало, сидел не ворохнувшись на одном месте – пиши с него сколько угодно; он даже засыпал в заказанном ему положении. И, недовольный, положил он свою кисть и палитру на стул и остановился смутно

пред холстом. Комплимент, сказанный светской дамой, пробудил его из усыпления. Он бросился быстро к дверям провожать их; на лестнице получил приглашение бывать, прийти на следующей неделе обедать и с веселым видом возвратился к себе в комнату. Аристократическая дама совершенно очаровала его. До сих пор он глядел на подобные существа как на что-то недоступное, которые рождены только для того, чтобы пронестись в великолепной коляске с ливрейными лакеями и щегольским кучером и бросить равнодушный взгляд на бредущего пешком, в небогатом плащишке человека. И вдруг теперь одно из этих существ вошло к нему в комнату; он пишет портрет, приглашен на обед в аристократический дом. Довольство овладело им необыкновенное; он был упоен совершенно и наградил себя за это славным обедом, вечерним спектаклем и опять проехался в карете по городу без всякой нужды.

Во все эти дни обычная работа ему не шла вовсе на ум. Он только приготовлялся и ждал минуты, когда раздастся звонок. Наконец аристократическая дама приехала вместе с своею бледненькою дочерью. Он усадил их, придвинул холст уже с ловкостью и претензиями на светские замашки и стал писать. Солнечный день и ясное освещение много помогли ему. Он увидел в легоньком своем оригинале много такого, что, быв уловлено и передано на полотно, могло придать высокое достоинство портрету; увидел, что можно сделать кое-что особенное, если выполнить все в такой окончательности, в какой теперь представлялась ему натура. Сердце его начало даже слегка трепетать, когда он почувствовал, что выразит то, чего еще не заметили другие. Работа заняла его всего, весь погрузился он в кисть, позабыв опять об аристократическом происхождении оригинала. С занимавшимся дыханием видел, как выходили у него легкие черты и это почти прозрачное тело семнадцатилетней девушки. Он ловил всякий оттенок, легкую желтизну, едва заметную голубизну под глазами и уже готовился даже схватить небольшой прыщик, выскочивший на лбу, как вдруг услышал над собою голос матери. «Ах, зачем это? это не нужно, – говорила дама. – У вас тоже… вот, в некоторых местах… как будто бы несколько желто и вот здесь совершенно как темные пятнышки». Художник стал изъяснять, что эти-то пятнышки и желтизна именно разыгрываются хорошо, что они составляют приятные и легкие тоны лица. Но ему отвечали, что они не составят никаких тонов и совсем не разыгрываются; и что это ему только так кажется. «Но позвольте здесь в одном только месте тронуть немножко желтенькой краской», – сказал простодушно художник. Но этого-то ему и не позволили. Объявлено было, что Lise только

сегодня немножко не расположена, а что желтизны в ней никакой не бывает и лицо поражает особенно свежестью краски. С грустью принялся он изглаживать то, что кисть его заставила выступить на полотно. Исчезло много почти незаметных черт, а вместе с ними исчезло отчасти и сходство. Он бесчувственно стал сообщать ему тот общий колорит, который дается наизусть и обращает даже лица, взятые с натуры, в какие-то холодно-идеальные, видимые на ученических программах. Но дама была довольна тем, что обидный колорит был изгнан вовсе. Она изъявила только удивленье, что работа идет так долго, и прибавила, что слышала, будто он в два сеанса оканчивает совершенно портрет. Художник ничего не нашелся на это отвечать. Дамы поднялись и собирались выйти. Он положил кисть, проводил их до дверей и после того долго оставался смутным на одном и том же месте перед своим портретом. Он глядел на него глупо, а в голове его между тем носились те легкие женственные черты, те оттенки и воздушные тоны, им подмеченные, которые уничтожила безжалостно его кисть. Будучи весь полон ими, он отставил портрет в сторону и отыскал у себя где-то заброшенную головку Психеи, которую когда-то давно и эскизно набросал на полотно. Это было личико, ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее из одних общих черт, не принявшее живого тела. От нечего делать он теперь принялся проходить его, припоминая на нем все, что случилось ему подметить в лице аристократической посетительницы. Уловленные им черты, оттенки и тоны здесь ложились в том очищенном виде, в каком являются они тогда, когда художник, наглядевшись на природу, уже отдаляется от нее и производит ей равное создание. Психея стала оживать, и едва сквозившая мысль начала мало-помалу облекаться в видимое тело. Тип лица молоденькой светской девицы невольно сообщился Психее, и чрез то получила она своеобразное выражение, дающее право на название истинно оригинального произведения. Казалось, он воспользовался по частям и вместе всем, что представил ему оригинал, и привязался совершенно к своей работе. В продолжение нескольких дней он был занят только ею. И за этой самой работой застал его приезд знакомых дам. Он не успел снять со станка картину. Обе дамы издали радостный крик изумленья и всплеснули руками.

– Lise, Lise! Ах, как похоже! Superbe, superbe! Как хорошо вы вздумали, что одели ее в греческий костюм. Ах, какой сюрприз!

Художник не знал, как вывести дам из приятного заблуждения. Совестясь и потупя голову, он произнес тихо:

– Это Психея. – В виде Психеи? C'est charmant! – сказала мать,

улыбнувшись, причем улыбнулась также и дочь. – Не правда ли, Lise, тебе больше всего идет быть изображенной в виде Психеи? Quelle idée délicieuse![3] Но какая работа! Это Корредж. Признаюсь, я читала и слышала о вас, но я не знала, что у вас такой талант. Нет, вы непременно должны написать также и с меня портрет.

Даме, как видно, хотелось также предстать в виде какой-нибудь Психеи.

«Что мне с ними делать? – подумал художник. – Если они сами того хотят, так пусть Психея пойдет за то, что им хочется», – и произнес вслух:

– Потрудитесь еще немножко присесть, я кое-что немножко трону.

– Ах, я боюсь, чтобы вы как-нибудь не… она так теперь похожа.

Но художник понял, что опасенья были насчет желтизны, и успокоил их, сказав, что он только придаст более блеску и выраженья глазам. А по справедливости, ему было слишком совестно и хотелось хотя сколько-нибудь более придать сходства с оригиналом, дабы не укорил его кто-нибудь в решительном бесстыдстве. И точно, черты бледной девушки стали наконец выходить яснее из облика Психеи.

– Довольно! – сказала мать, начинавшая бояться, чтобы сходство не приблизилось наконец уже чересчур близко.

Художник был награжден всем: улыбкой, деньгами, комплиментом, искренним пожатьем руки, приглашеньем на обеды; словом, получил тысячу лестных наград. Портрет произвел по городу шум. Дама показала его приятельницам; все изумлялись искусству, с каким художник умел сохранить сходство и вместе с тем придать красоту оригиналу. Последнее замечено было, разумеется, не без легкой краски зависти в лице. И художник вдруг был осажден работами. Казалось, весь город хотел у него писаться. У дверей поминутно раздавался звонок. С одной стороны, это могло быть хорошо, представляя ему бесконечную практику разнообразием, множеством лиц. Но, на беду, это всё был народ, с которым было трудно ладить, народ торопливый, занятой или же принадлежащий свету, – стало быть, еще более занятой, нежели всякий другой, и потому нетерпеливый до крайности. Со всех сторон только требовали, чтоб было хорошо и скоро. Художник увидел, что оканчивать решительно было невозможно, что все нужно было заменить ловкостью и быстрой бойкостью кисти. Схватывать одно только целое, одно общее выраженье и не углубляться кистью в утонченные подробности; одним словом, следить природу в ее

окончательности было решительно невозможно. Притом нужно прибавить, что у всех почти писавшихся много было других притязаний на разное. Дамы требовали, чтобы преимущественно только душа и характер изображались в портретах, чтобы остального иногда вовсе не придерживаться, округлить все углы, облегчить все изъянцы и даже, если можно, избежать их вовсе. Словом, чтобы на лицо можно было засмотреться, если даже не совершенно влюбиться. И вследствие этого, садясь писаться, они принимали иногда такие выражения, которые приводили в изумленье художника: та старалась изобразить в лице своем меланхолию, другая мечтательность, третья во что бы ни стало хотела уменьшить рот и сжимала его до такой степени, что он обращался наконец в одну точку, не больше булавочной головки. И, несмотря на все это, требовали от него сходства и непринужденной естественности. Мужчины тоже были ничем не лучше дам. Один требовал себя изобразить в сильном, энергическом повороте головы; другой с поднятыми кверху вдохновенными глазами; гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах виден был Марс; гражданский сановник норовил так, чтобы побольше было прямоты, благородства в лице и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано: «Всегда стоял за правду». Сначала художника бросали в пот такие требованья: все это нужно было сообразить, обдумать, а между тем сроку давалось очень немного. Наконец он добрался, в чем было дело, и уж не затруднялся нисколько. Даже из двух, трех слов смекал вперед, кто чем хотел изобразить себя. Кто хотел Марса, он в лицо совал Марса; кто метил в Байрона, он давал ему байроновское положенье и поворот. Коринной ли, Ундиной, Аспазией ли желали быть дамы, он с большой охотой соглашался на всё и прибавлял от себя уже всякому вдоволь благообразия, которое, как известно, нигде не подгадит и за что простят иногда художнику и самое несходство. Скоро он уже сам начал дивиться чудной быстроте и бойкости своей кисти. А писавшиеся, само собою разумеется, были в восторге и провозглашали его гением.

Чартков сделался модным живописцем во всех отношениях. Стал ездить на обеды, сопровождать дам в галереи и даже на гулянья, щегольски одеваться и утверждать гласно, что художник должен принадлежать к обществу, что нужно поддержать его званье, что художники одеваются как сапожники, не умеют прилично вести себя, не соблюдают высшего тона и лишены всякой образованности. Дома у себя, в мастерской он завел опрятность и чистоту в высшей степени, определил двух великолепных лакеев, завел щегольских учеников, переодевался

несколько раз в день в разные утренние костюмы, завивался, занялся улучшением разных манер, с которыми принимать посетителей, занялся украшением всеми возможными средствами своей наружности, чтобы произвести ею приятное впечатление на дам; одним словом, скоро нельзя было в нем вовсе узнать того скромного художника, который работал когда-то незаметно в своей лачужке на Васильевском острове. О художниках и об искусстве он изъяснялся теперь резко: утверждал, что прежним художникам уже чересчур много приписано достоинства, что все они до Рафаэля писали не фигуры, а селедки; что существует только в воображении рассматривателей мысль, будто бы видно в них присутствие какой-то святости; что сам Рафаэль даже писал не все хорошо и за многими произведениями его удержалась только по преданию слава; что Микель-Анжел хвастун, потому что хотел только похвастать знанием анатомии, что грациозности в нем нет никакой и что настоящий блеск, силу кисти и колорит нужно искать только теперь, в нынешнем веке. Тут натурально, невольным образом доходило дело и до себя.

– Нет, я не понимаю, – говорил он, – напряженья других сидеть и корпеть за трудом. Этот человек, который копается по нескольку месяцев над картиною, по мне, труженик, а не художник. Я не поверю, чтобы в нем был талант. Гений творит смело, быстро. Вот у меня, – говорил он, обращаясь обыкновенно к посетителям, – этот портрет я написал в два дня, эту головку в один день, это в несколько часов, это в час с небольшим. Нет, я… я, признаюсь, не признаю художеством того, что лепится строчка за строчкой; это уж ремесло, а не художество.

Так рассказывал он своим посетителям, и посетители дивились силе и бойкости его кисти, издавали даже восклицания, услышав, как быстро они производились, и потом пересказывали друг другу: «Это талант, истинный талант! Посмотрите, как он говорит, как блестят его глаза! Il y a quelque chose d'extraordinaire dans toute sa figure!»

Художнику было лестно слышать о себе такие слухи. Когда в журналах появлялась печатная хвала ему, он радовался, как ребенок, хотя эта хвала была куплена им за свои же деньги. Он разносил такой печатный лист везде и, будто бы ненарочно, показывал его знакомым и приятелям, и это его тешило до самой простодушной наивности. Слава его росла, работы и заказы увеличивались. Уже стали ему надоедать одни к те же портреты и лица, которых положенье и обороты сделались ему заученными. Уже без большой охоты он писал и, стараясь набросать только кое-как одну голову, а остальное давал доканчивать ученикам. Прежде он все-таки искал дать какое-нибудь новое положение,

поразить силою, эффектом. Теперь и это становилось ему скучно. Ум уставал придумывать и обдумывать. Это было ему невмочь, да и некогда: рассеянная жизнь и общество, где он старался сыграть роль светского человека, – все это уносило его далеко от труда и мыслей. Кисть его хладела и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, определенные, давно изношенные формы. Однообразные, холодные, вечно прибранные и, так сказать, застегнутые лица чиновников, военных и штатских не много представляли поля для кисти: она позабывала и великолепные драпировки, и сильные движения, и страсти. О группах, о художественной драме, о высокой ее завязке нечего было и говорить. Пред ним были только мундир, да корсет, да фрак, пред которыми чувствует холод художник и падает всякое воображение. Даже достоинств самых обыкновенных уже не было видно в его произведениях, а между тем они всё еще пользовались славою, хотя истинные знатоки и художники только пожимали плечами, глядя на последние его работы. А некоторые, знавшие Чарткова прежде, не могли понять, как мог исчезнуть в нем талант, которого признаки оказались уже ярко в нем при самом начале, и напрасно старались разгадать, каким образом может угаснуть дарованье в человеке, тогда как он только что достигнул еще полного развития всех сил своих.

Но этих толков не слышал упоенный художник. Уже он начинал достигать поры степенности ума и лет; стал толстеть и видимо раздаваться в ширину. Уже в газетах и журналах читал он прилагательные: «почтенный наш Андрей Петрович», «заслуженный наш Андрей Петрович». Уже стали ему предлагать по службе почетные места, приглашать на экзамены, в комитеты. Уже он начинал, как всегда случается в почетные лета, брать сильно сторону Рафаэля и старинных художников, – не потому, что убедился вполне в их высоком достоинстве, но потому, чтобы колоть ими в глаза молодых художников. Уже он начинал, по обычаю всех, вступающих в такие лета, укорять без изъятья молодежь в безнравственности и дурном направлении духа. Уже начинал он верить, что все на свете делается просто, вдохновенья свыше нет и все необходимо должно быть подвергнуто под один строгий порядок аккуратности и однообразья. Одним словом, жизнь его уже коснулась тех лет, когда все, дышащее порывом, сжимается в человеке, когда могущественный смычок слабее доходит до души и не обвивается пронзительными звуками около сердца, когда прикосновенье красоты уже не превращает девственных сил в огонь и пламя, но все отгоревшие чувства становятся доступнее к звуку золота, вслушиваются внимательней в его заманчивую музыку и мало-помалу

нечувствительно позволяют ей совершенно усыпить себя. Слава не может дать наслажденья тому, кто украл ее, а не заслужил; она производит постоянный трепет только в достойном ее. И потому все чувства и порывы его обратились к золоту. Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслажденьем, целью. Пуки ассигнаций росли в сундуках, и как всякий, кому достается в удел этот страшный дар, он начал становиться скучным, недоступным ко всему, кроме золота, беспричинным скрягой, беспутным собирателем и уже готов был обратиться в одно из тех странных существ, которых много попадается в нашем бесчувственном свете, на которых с ужасом глядит исполненный жизни и сердца человек, которому кажутся они движущимися каменными гробами с мертвецом внутри наместо сердца. Но одно событие сильно потрясло и разбудило весь его жизненный состав.

В один день увидел он на столе своем записку, в которой Академия художеств просила его, как достойного ее члена, приехать дать суждение свое о новом, присланном из Италии, произведении усовершенствовавшегося там русского художника. Этот художник был один из прежних его товарищей, который от ранних лет носил в себе страсть к искусству, с пламенной душой труженика погрузился в него всей душою своей, оторвался от друзей, от родных, от милых привычек и помчался туда, где в виду прекрасных небес спеет величавый рассадник искусств, – в тот чудный Рим, при имени которого так полно и сильно бьется пламенное сердце художника. Там, как отшельник, погрузился он в труд и в не развлекаемые ничем занятия. Ему не было до того дела, толковали ли о его характере, о его неумении обращаться с людьми, о несоблюдении светских приличий, о унижении, которое он причинял званию художника своим скудным, нещегольским нарядом. Ему не было нужды, сердилась ли или нет на него его братья. Всем пренебрегал он, все отдал искусству. Неутомимо посещал галереи, по целым часам застаивался перед произведениями великих мастеров, ловя и преследуя чудную кисть. Ничего он не оканчивал без того, чтобы не поверить себя несколько раз с сими великими учителями и чтобы не прочесть в их созданьях безмолвного и красноречивого себе совета. Он не входил в шумные беседы и споры; он не стоял ни за пуристов, ни против пуристов. Он равно всему отдавал должную ему часть, извлекая изо всего только то, что было в нем прекрасно, и наконец оставил себе в учители одного божественного Рафаэля. Подобно как великий поэт-художник, перечитавший много всяких творений, исполненных многих прелестей и величавых красот, оставлял наконец себе настольною книгой одну только «Илиаду» Гомера, открыв, что в ней все есть, чего хочешь, и что нет ничего,

что бы не отразилось уже здесь в таком глубоком и великом совершенстве. И зато вынес он из своей школы величавую идею созданья, могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной кисти.

Вошедши в залу, Чартков нашел уже целую огромную толпу посетителей, собравшихся перед картиною. Глубочайшее безмолвие, какое редко бывает между многолюдными ценителями, на этот раз царствовало всюду. Он поспешил принять значительную физиогномию знатока и приблизился к картине; но, Боже, что он увидел!

Чистое, непорочное, прекрасное, как невеста, стояло пред ним произведение художника. Скромно, божественно, невинно и просто, как гений, возносилось оно над всем. Казалось, небесные фигуры, изумленные столькими устремленными на них взорами, стыдливо опустили прекрасные ресницы. С чувством невольного изумления созерцали знатоки новую, невиданную кисть. Все тут, казалось, соединилось вместе: изученье Рафаэля, отраженное в высоком благородстве положений, изучение Корреджия, дышавшее в окончательном совершенстве кисти» Но властительней всего видна была сила созданья, уже заключенная в душе самого художника. Последний предмет в картине был им проникнут; во всем постигнут закон и внутренняя сила. Везде уловлена была эта плывучая округлость линий, заключенная в природе, которую видит только один глаз художника-создателя и которая выходит углами у копииста. Видно было, как все извлеченное из внешнего мира художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной, торжественной песнью. И стало ясно даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданьем и простой копией с природы. Почти невозможно было выразить той необыкновенной тишины, которою невольно были объяты все, вперившие глаза на картину, – ни шелеста, ни звука; а картина между тем ежеминутно казалась выше и выше; светлей и чудесней отделялась от всего и вся превратилась наконец в один миг, плод налетевшей с небес на художника мысли, миг, к которому вся жизнь человеческая есть одно только приготовление. Невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей, окруживших картину. Казалось, все вкусы, все дерзкие, неправильные уклонения вкуса слились в какой-то безмолвный гимн божественному произведению. Неподвижно, с отверстым ртом стоял Чартков перед картиною, и наконец, когда мало-помалу посетители и знатоки зашумели и начали рассуждать о достоинстве произведения и когда наконец обратились к нему с просьбою объявить свои мысли, он пришел в

себя; хотел принять равнодушный, обыкновенный вид, хотел сказать обыкновенное, пошлое суждение зачерствелых художников, вроде следующего: «Да, конечно, правда, нельзя отнять таланта от художника; есть кое-что; видно, что хотел он выразить что-то; однако же, что касается до главного…» И вслед за этим прибавить, разумеется, такие похвалы, от которых бы не поздоровилось никакому художнику. Хотел это сделать, но речь умерла на устах его, слезы и рыдания нестройно вырвались в ответ, и он как безумный выбежал из залы.

С минуту, неподвижный и бесчувственный, стоял он посреди своей великолепной мастерской. Весь состав, вся жизнь его была разбужена в одно мгновение, как будто молодость возвратилась к нему, как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова. С очей его вдруг слетела повязка. Боже! и погубить так безжалостно лучшие годы своей юности; истребить, погасить искру огня, может быть, теплившегося в груди, может быть, развившегося бы теперь в величии и красоте, может быть, также исторгнувшего бы слезы изумления и благодарности! И погубить все это, погубить без всякой жалости! Казалось, как будто в эту минуту разом и вдруг ожили в душе его те напряжения и порывы, которые некогда были ему знакомы. Он схватил кисть и приблизился к холсту. Пот усилия проступил на его лице; весь обратился он в одно желание и загорелся одною мыслию: ему хотелось изобразить отпадшего ангела. Эта идея была более всего согласна с состоянием его души. Но увы! фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображение слишком уже заключились в одну мерку, и бессильный порыв преступить границы и оковы, им самим на себя наброшенные, уже отзывался неправильностию и ошибкою. Он пренебрег утомительную, длинную лестницу постепенных сведений и первых основных законов будущего великого. Досада его проникла. Он велел вынесть прочь из своей мастерской все последние произведенья, все безжизненные модные картинки, все портреты гусаров, дам и статских советников. Заперся один в своей комнате, не велел никого впускать и весь погрузился в работу. Как терпеливый юноша, как ученик, сидел он за своим трудом. Но как беспощадно-неблагодарно было все то, что выходило из-под его кисти! На каждом шагу он был останавливаем незнанием самых первоначальных стихий; простой, незначащий механизм охлаждал весь порыв и стоял неперескочимым порогом для воображения. Кисть невольно обращалась к затверженным формам, руки складывались на один заученный манер, голова не смела сделать необыкновенного поворота, даже самые складки платья отзывались вытверженным

и не хотели повиноваться и драпироваться на незнакомом положении тела. И он чувствовал, он чувствовал и видел это сам!

«Но точно ли был у меня талант? – сказал он наконец, – не обманулся ли я?» И, произнесши эти слова, он подошел к прежним своим произведениям, которые работались когда-то так чисто, так бескорыстно, там, в бедной лачужке на уединенном Васильевском острову, вдали людей, изобилья и всяких прихотей. Он подошел теперь к ним и стал внимательно рассматривать их все, и вместе с ними стала представать в его памяти вся прежняя бедная жизнь его. «Да, – проговорил он отчаянно, – у меня был талант. Везде, на всем видны его признаки и следы…»

Он остановился и вдруг затрясся всем телом: глаза его встретились с неподвижно вперившимися на него глазами. То был тот необыкновенный портрет, который он купил на Щукином дворе. Все время он был закрыт, загроможден другими картинами и вовсе вышел у него из мыслей. Теперь же, как нарочно, когда были вынесены все модные портреты и картины, наполнявшие мастерскую, он выглянул наверх вместе с прежними произведениями его молодости. Как вспомнил он всю странную его историю, как вспомнил, что некоторым образом он, этот странный портрет, был причиной его превращенья, что денежный клад, полученный им таким чудесным образом, родил в нем все суетные побужденья, погубившие его талант, – почти бешенство готово было ворваться к нему в душу. Он в ту же минуту велел вынести прочь ненавистный портрет. Но душевное волненье оттого не умирилось: все чувства и весь состав были потрясены до дна, и он узнал ту ужасную муку, которая, как поразительное исключение, является иногда в природе, когда талант слабый силится выказаться в превышающем его размере и не может выказаться; ту муку, которая в юноше рождает великое, но в перешедшем за грань мечтаний обращается в бесплодную жажду; ту страшную муку, которая делает человека способным на ужасные злодеяния. Им овладела ужасная зависть, зависть до бешенства. Желчь проступала у него на лице, когда он видел произведение, носившее печать таланта. Он скрежетал зубами и пожирал его взором василиска. В душе его возродилось самое адское намерение, какое когда-либо питал человек, и с бешеною силою бросился он приводить его в исполнение. Он начал скупать все лучшее, что только производило художество. Купивши картину дорогою ценою, осторожно приносил в свою комнату и с бешенством тигра на нее кидался, рвал, разрывал ее, изрезывал в куски и топтал ногами, сопровождая смехом наслажденья. Бесчисленные собранные им богатства доставляли ему все средства удовлетворять этому адскому желанию. Он развязал все

свои золотые мешки и раскрыл сундуки. Никогда ни одно чудовище невежества не истребило столько прекрасных произведений, сколько истребил этот свирепый мститель. На всех аукционах, куда только показывался он, всякий заранее отчаивался в приобретении художественного создания. Казалось, как будто разгневанное небо нарочно послало в мир этот ужасный бич, желая отнять у него всю его гармонию. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорит на него: вечная желчь присутствовала на лице его. Хула на мир и отрицание изображалось само собой в чертах его. Казалось, в нем олицетворился тот страшный демон, которого идеально изобразил Пушкин. Кроме ядовитого слова и вечного порицанья, ничего не произносили его уста. Подобно какой-то гарпии, попадался он на улице, и все его даже знакомые, завидя его издали, старались увернуться и избегнуть такой встречи, говоря, что она достаточна отравить потом весь день.

К счастию мира и искусств, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться: размер страстей был слишком неправилен и колоссален для слабых сил ее. Припадки бешенства и безумия начали оказываться чаще, и наконец все это обратилось в самую ужасную болезнь. Жестокая горячка, соединенная с самою быстрою чахоткою, овладела им так свирепо, что в три дня оставалась от него одна тень только. К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Иногда несколько человек не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Он двоился, четверился в его глазах; все стены казались увешаны портретами, вперившими в него свои неподвижные живые глаза. Страшные портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз. Доктор, принявший на себя обязанность его пользовать и уже несколько наслышавшийся о странной его истории, старался всеми силами отыскать тайное отношение между грезившимися ему привидениями и происшествиями его жизни, но ничего не мог успеть. Больной ничего не понимал и не чувствовал, кроме своих терзаний, и издавал одни ужасные вопли и непонятные речи. Наконец жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном, порыве страдания. Труп его был страшен. Ничего тоже не могли найти от огромных его богатств; но, увидевши изрезанные куски тех высоких произведений искусства, которых цена превышала миллионы, поняли ужасное их употребление.

Часть II

Множество карет, дрожек и колясок стояло перед подъездом дома, в котором производилась аукционная продажа вещей одного из тех богатых любителей искусств, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные в зефиры и амуры, которые невинно прослыли меценатами и простодушно издержали для этого миллионы, накопленные их основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Таких меценатов, как известно, теперь уже нет, и наш XIX век давно уже приобрел скучную физиономию банкира, наслаждающегося своими миллионами только в виде цифр, выставляемых на бумаге. Длинная зала была наполнена самою пестрою толпой посетителей, налетевших, как хищные птицы на неприбранное тело. Тут была целая флотилия русских купцов из Гостиного двора и даже толкучего рынка, в синих немецких сюртуках. Вид их и выраженье лиц были здесь как-то тверже, вольнее и не означались той приторной услужливостью, которая так видна в русском купце, когда он у себя в лавке перед покупщиком. Тут они вовсе не чинились, несмотря на то что в этой же зале находилось множество тех аристократов, перед которыми они в другом месте готовы были своими поклонами смести пыль, нанесенную своими же сапогами. Здесь они были совершенно развязны, щупали без церемонии книги и картины, желая узнать доброту товара, и смело перебивали цену, набавляемую графами-знатоками. Здесь были многие необходимые посетители аукционов, постановившие каждый день бывать в нем вместо завтрака; аристократы-знатоки, почитавшие обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцию и не находившие другого занятия от 12 до 1 часа; наконец, те благородные господа, которых платья и карманы очень худы, которые являются ежедневно без всякой корыстолюбивой цели, но единственно, чтобы посмотреть, чем что кончится, кто будет давать больше, кто меньше, кто кого перебьет и за кем что останется. Множество картин было разбросано совершенно без всякого толку; с ними были перемешаны и мебели, и книги с вензелями прежнего владетеля, может быть, не имевшего вовсе похвального любопытства в них заглядывать. Китайские вазы, мраморные доски для столов, новые и старые мебели с выгнутыми линиями, с грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченные и без позолоты, люстры, кенкеты – все было навалено, и вовсе не в таком порядке, как в магазинах. Все представляло какой-то хаос искусств. Вообще ощущаемое нами чувство при виде аукциона

страшно: в нем все отзывается чем-то похожим на погребальную процессию. Зал, в котором он производится, всегда как-то мрачен; окна, загроможденные мебелями и картинами, скупо изливают свет, безмолвие, разлитое на лицах, и погребальный голос аукциониста, постукивающего молотком и отпевающего панихиду бедным, так странно встретившимся здесь искусствам. Все это, кажется, усиливает еще более странную неприятность впечатленья.

Аукцион, казалось, был в самом разгаре. Целая толпа порядочных людей, сдвинувшись вместе, хлопотала о чем-то наперерыв. Со всех сторон раздававшиеся слова: «Рубль, рубль, рубль», – не давали времени аукционисту повторять надбавляемую цену, которая уже возросла вчетверо больше объявленной. Обступившая толпа хлопотала из-за портрета, который не мог не остановить всех, имевших сколько-нибудь понятия в живописи. Высокая кисть художника выказывалась в нем очевидно. Портрет, по-видимому, уже несколько раз был реставрирован и поновлен и представлял смуглые черты какого-то азиатца в широком платье, с необыкновенным, странным выраженьем в лице; но более всего обступившие были поражены необыкновенной живостью глаз. Чем более всматривались в них, тем более они, казалось, устремлялись каждому вовнутрь. Эта странность, этот необыкновенный фокус художника заняли вниманье почти всех. Много уже из состязавшихся о нем отступились, потому что цену набили неимоверную. Остались только два известные аристократа, любители живописи, не хотевшие ни за что отказаться от такого приобретенья. Они горячились и набили бы, вероятно, цену до невозможности, если бы вдруг один из тут же рассматривавших не произнес:

– Позвольте мне прекратить на время ваш спор. Я, может быть, более, нежели всякий другой, имею право на этот портрет.

Слова эти вмиг обратили на него внимание всех. Это был стройный человек, лет тридцати пяти, с длинными черными кудрями. Приятное лицо, исполненное какой-то светлой беззаботности, показывало душу, чуждую всех томящих светских потрясений; в наряде его не было никаких притязаний на моду: все показывало в нем артиста. Это был, точно, художник Б., знаемый лично многими из присутствовавших.

– Как ни странны вам покажутся слова мои, – продолжал он, видя устремившееся на себя всеобщее внимание, – но если вы решитесь выслушать небольшую историю, может быть, вы увидите, что я был вправе произнести их. Всё меня уверяют, что портрет есть тот самый, которого я ищу.

Весьма естественное любопытство загорелось почти на лицах

всех, и самый аукционист, разинув рот, остановился с поднятым в руке молотком, приготовляясь слушать. В начале рассказа многие обращались невольно глазами к портрету, но потом все вперились в одного рассказчика, по мере того как рассказ его становился занимательней.

– Вам известна та часть города, которую называют Коломною. – Так он начал. – Тут все непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция; кажется, слышишь, перейдя в коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желанья и порывы. Сюда не заходит будущее, здесь все тишина и отставка, все, что осело от столичного движенья. Сюда переезжают на житье отставные чиновники, вдовы, небогатые люди, имеющие знакомство с сенатом и потому осудившие себя здесь почти на всю жизнь; выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый день на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелочной лавочке и забирающие каждый день на пять копеек кофию да на четыре сахару, и, наконец, весь тот разряд людей, который можно назвать одним словом: пепельный, – людей, которые с своим платьем, лицом, волосами, глазами имеют какую-то мутную, пепельную наружность, как день, когда нет на небе ни бури, ни солнца, а бывает просто ни се ни то: сеется туман и отнимает всякую резкость у предметов. Сюда можно причислить отставных театральных капельдинеров, отставных титулярных советников, отставных питомцев Марса с выколотым глазом и раздутою губою. Эти люди вовсе бесстрастны: идут, ни на что не обращая глаз, молчат, ни о чем не думая. В комнате их не много добра; иногда просто штоф чистой русской водки, которую они однообразно сосут весь день без всякого сильного прилива в голове, возбуждаемого сильным приемом, какой обыкновенно любит задавать себе по воскресным дням молодой немецкий ремесленник, этот удалец Мещанской улицы, один владеющий всем тротуаром, когда время перешло за двенадцать часов ночи.

Жизнь в Коломне страх уединенна: редко покажется карета, кроме разве той, в которой ездят актеры, которая громом, звоном и бряканьем своим одна смущает всеобщую тишину. Тут всё пешеходы; извозчик весьма часто без седока плетется, таща сено для бородатой лошаденки своей. Квартиру можно сыскать за пять рублей в месяц, даже с кофием поутру. Вдовы, получающие пенсион, тут самые аристократические фамилии; они ведут себя хорошо, метут часто свою комнату, толкуют с приятельницами о дороговизне говядины и капусты; при них часто бывает молоденькая дочь, молчаливое, безгласное, иногда миловидное существо, гадкая собачонка и стенные часы с печально постукивающим маятником. Потом следуют актеры, которым

жалованье не позволяет выехать из Коломны, народ свободный, как все артисты, живущие для наслажденья. Они, сидя в халатах, чинят пистолет, клеют из картона всякие вещицы, полезные для дома, играют с пришедшим приятелем в шашки и карты, и так проводят утро, делая почти то же ввечеру, с присоединеньем кое-когда пунша. После сих тузов и аристократства Коломны следует необыкновенная дробь и мелочь. Их так же трудно поименовать, как исчислить то множество насекомых, которое зарождается в старом уксусе. Тут есть старухи, которые молятся; старухи, которые пьянствуют; старухи, которые и молятся и пьянствуют вместе; старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами, как муравьи – таскают с собою старое тряпье и белье от Калинкина мосту до толкучего рынка, с тем чтобы продать его там за пятнадцать копеек; словом, часто самый несчастный осадок человечества, которому бы ни один благодетельный политический эконом не нашел средств улучшить состояние.

Я для того привел их, чтобы показать вам, как часто этот народ находится в необходимости искать одной только внезапной, временной помощи, прибегать к займам; и тогда поселяются между ними особого рода ростовщики, снабжающие небольшими суммами под заклады и за большие проценты. Эти небольшие ростовщики бывают в несколько раз бесчувственней всяких больших, потому что возникают среди бедности и ярко выказываемых нищенских лохмотьев, которых не видит богатый ростовщик, имеющий дело только с приезжающими в каретах. И потому уже слишком рано Убирает в душах их всякое чувство человечества. Между такими ростовщиками был один… но не мешает вам сказать, что происшествие, о котором я принялся рассказать, относится к прошедшему веку, именно к царствованию покойной государыни Екатерины Второй. Вы можете сами понять, что самый вид Коломны и жизнь внутри ее должны были значительно измениться. Итак, между ростовщиками был один – существо во всех отношениях необыкновенное, поселившееся уже давно в сей части города. Он ходил в широком азиатском наряде; темная краска лица указывала на южное его происхождение, но какой именно был он нации: индеец, грек, персиянин, об этом никто не мог сказать наверно. Высокий, почти необыкновенный рост, смуглое, тощее, запаленное лицо и какой-то непостижимо страшный цвет его, большие, необыкновенного огня глаза, нависнувшие густые брови отличали его сильно и резко от всех пепельных жителей столицы. Самое жилище его не похоже было на прочие маленькие деревянные домики. Это было каменное строение, вроде тех, которых когда-то настроили вдоволь генуэзские купцы, – с

неправильными, неравной величины окнами, с железными ставнями и засовами. Этот ростовщик отличался от других ростовщиков уже тем, что мог снабдить какою угодно суммою всех, начиная от нищей старухи до расточительного придворного вельможи. Пред домом его показывались часто самые блестящие экипажи, из окон которых иногда глядела голова роскошной светской дамы. Молва, по обыкновению, разнесла, что железные сундуки его полны без счету денег, драгоценностей, бриллиантов и всяких залогов, но что, однако же, он вовсе не имел той корысти, какая свойственна другим ростовщикам. Он давал деньги охотно, распределяя, казалось, весьма выгодно сроки платежей; но какими-то арифметическими странными выкладками заставлял их восходить до непомерных процентов. Так, по крайней мере, говорила молва. Но что страннее всего и что не могло не поразить многих – это была странная судьба всех тех, которые получали от него деньги: все они оканчивали жизнь несчастным образом. Было ли это просто людское мнение, нелепые суеверные толки или с умыслом распущенные слухи – это осталось неизвестно. Но несколько примеров, случившихся в непродолжительное время пред глазами всех, были живы и разительны.

Из среды тогдашнего аристократства скоро обратил на себя глаза юноша лучшей фамилии, отличившийся уже в молодых летах на государственном поприще, жаркий почитатель всего истинного, возвышенного, ревнитель всего, что породило искусство и ум человека, пророчивший в себе мецената. Скоро он был достойно отличен самой государыней, вверившей ему значительное место, совершенно согласное с собственными его требованиями, место, где он мог много произвести для наук и вообще для добра. Молодой вельможа окружил себя художниками, поэтами, учеными. Ему хотелось всему дать работу, все поощрить. Он предпринял на собственный счет множество полезных изданий, надавал множество заказов, объявил поощрительные призы, издержал на это кучи денег и наконец расстроился. Но, полный великодушного движенья, он не хотел отстать от своего дела, искал везде занять и наконец обратился к известному ростовщику. Сделавши значительный заем у него, этот человек в непродолжительное время изменился совершенно: стал гонителем, преследователем развивающегося ума и таланта. Во всех сочинениях стал видеть дурную сторону, толковал криво всякое слово. Тогда, на беду, случилась французская революция. Это послужило ему вдруг орудием для всех возможных гадостей. Он стал видеть во всем какое-то революционное направление, во всем ему чудились намеки. Он

сделался подозрительным до такой степени, что начал наконец подозревать самого себя, стал сочинять ужасные, несправедливые доносы, наделал тьму несчастных. Само собой разумеется, что такие поступки не могли не достигнуть наконец престола. Великодушная государыня ужаснулась и, полная благородства души, украшающего венценосцев, произнесла слова, которые хотя не могли перейти к нам во всей точности, но глубокий смысл их впечатлелся в сердцах многих. Государыня заметила, что не под монархическим правлением угнетаются высокие, благородные движенья души, не там презираются и преследуются творенья ума, поэзии и художеств; что, напротив, одни монархи бывали их покровителями; что Шекспиры, Мольеры процветали под их великодушной защитой, между тем как Дант не мог найти угла в своей республиканской родине; что истинные гении возникают во время блеска и могущества государей и государств, а не во время безобразных политических явлений и терроризмов республиканских, которые доселе не подарили миру ни одного поэта; что нужно отличать поэтов-художников, ибо один только мир и прекрасную тишину низводят они в душу, а не волненье и ропот; что ученые, поэты и все производители искусств суть перлы и бриллианты в императорской короне: ими красуется и получает еще больший блеск эпоха великого государя. Словом, государыня, произнесшая сии слова, была в эту минуту божественно прекрасна. Я помню, что старики не могли об этом говорить без слез. В деле все приняли участие. К чести нашей народной гордости надобно заметить, что в русском сердце всегда обитает прекрасное чувство взять сторону угнетенного. Обманувший доверенность вельможа был наказан примерно и отставлен от места. Но наказание гораздо ужаснейшее читал он на лицах своих соотечественников. Это было решительное и всеобщее презрение. Нельзя рассказать, как страдала тщеславная душа; гордость, обманутое честолюбие, разрушившиеся надежды – все соединилось вместе, и в припадках страшного безумия и бешенства прервалась его жизнь.

Другой разительный пример произошел тоже в виду всех: из красавиц, которыми не бедна была тогда наша северная столица, одна одержала решительное первенство над всеми. Это было какое-то чудное слиянье нашей северной красоты с красотой полудня, бриллиант, какой попадается на свете редко. Отец мой признавался, что никогда он не видывал во всю жизнь свою ничего подобного. Все, казалось, в ней соединилось: богатство, ум и душевная прелесть. Искателей была толпа, и в числе их замечательнее всех был князь Р., благороднейший, лучший из всех молодых людей, прекраснейший и лицом, и рыцарскими,

великодушными порывами, высокий идеал романов и женщин, Грандисон во всех отношениях. Князь Р. был влюблен страстно и безумно; такая же пламенная любовь была ему ответом. Но родственникам показалась партия неровною. Родовые вотчины князя уже давно ему не принадлежали, фамилия была в опале, и плохое положенье дел его было известно всем. Вдруг князь оставляет на время столицу, будто бы с тем, чтобы поправить свои дела, и спустя непродолжительное время является окруженный пышностью и блеском неимоверным. Блистательные балы и праздники делают его известным двору. Отец красавицы становится благосклонным, и в городе разыгрывается интереснейшая свадьба. Откуда произошла такая перемена и неслыханное богатство жениха, этого не мог наверно изъяснить никто; но поговаривали стороною, что он вошел в какие-то условия с непостижимым ростовщиком и сделал *у* него заем. Как бы то ни было, но свадьба заняла весь город, и жених и невеста были предметом общей зависти. Воем была известна их жаркая, постоянная любовь, долгие томленья, претерпенные с обеих сторон, высокие достоинства обоих. Пламенные женщины начертывали заранее то райское блаженство, которым будут наслаждаться молодые супруги. Но вышло все иначе. В один год произошла страшная перемена в муже. Ядом подозрительной ревности, нетерпимостью и неистощимыми капризами отравился дотоле благородный и прекрасный характер. Он стал тираном и мучителем жены своей и, чего бы никто не мог предвидеть, прибегнул к самым бесчеловечным поступкам, даже побоям. В один год никто не мог узнать той женщины, которая еще недавно блистала и влекла за собою толпы покорных поклонников. Наконец, не в силах будучи выносить долее тяжелой судьбы своей, она первая заговорила о разводе. Муж пришел в бешенство при одной мысли о том. В первом движенье неистовства ворвался он к ней в комнату с ножом и, без сомнения, заколол бы ее тут же, если бы его не схватили и не удержали. В порыве исступленья и отчаянья он обратил нож на себя – и в ужаснейших муках окончил жизнь.

Кроме сих двух примеров, совершившихся в глазах всего общества, рассказывали множество случившихся в низших классах, которые почти все имели ужасный конец. Там честный, трезвый человек делался пьяницей; там купеческий приказчик обворовал своего хозяина; там извозчик, возивший несколько лет честно, за грош зарезал седока. Нельзя, чтобы такие происшествия, рассказываемые иногда не без прибавлений, не навели род какого-то невольного ужаса на скромных обитателей Коломны. Никто не сомневался о присутствии нечистой силы в

этом человеке. Говорили, что он предлагал такие условия, от которых дыбом поднимались волоса и которых никогда потом не посмел несчастный передавать другому; что деньги его имеют прожигающее свойство, раскаляются сами собою и носят какие-то странные знаки… словом, много было всяких нелепых толков. И замечательно то, что все это коломенское население, весь этот мир бедных старух, мелких чиновников, мелких артистов и, словом, всей мелюзги, которую мы только поименовали, соглашались лучше терпеть и выносить последнюю крайность, нежели обратиться к страшному ростовщику; находили даже умерших от голода старух, которые лучше соглашались умертвить свое тело, нежели погубить душу. Встречаясь с ним на улице, невольно чувствовали страх. Пешеход осторожно пятился и долго еще озирался после того назад, следя пропадавшую вдали его непомерную высокую фигуру. В одном уже образе было столько необыкновенного, что всякого заставило бы невольно приписать ему сверхъестественное существование. Эти сильные черты, врезанные так глубоко, как не случается у человека; этот горячий бронзовый цвет лица; эта непомерная гущина бровей, невыносимые, страшные глаза, даже самые широкие складки его азиатской одежды – все, казалось, как будто говорило, что пред страстями, двигавшимися в этом теле, были бледны все страсти других людей. Отец мой всякий раз останавливался неподвижно, когда встречал его, и всякий раз не мог удержаться, чтобы не произнести: «Дьявол, совершенный дьявол!» Но надобно вас поскорее познакомить с моим отцом, который, между прочим, есть настоящий сюжет этой истории.

Отец мой был человек замечательный во многих отношениях. Это был художник, каких мало, одно из тех чуд, которых извергает из непочатого лона своего только одна Русь, художник-самоучка, отыскавший сам в душе своей, без учителей и школы, правила и законы, увлеченный только одною жаждою усовершенствованья и шедший, по причинам, может быть, неизвестным ему самому, одною только указанною из души дорогою; одно из тех самородных чуд, которых часто современники честят обидным словом «невежи» и которые не охлаждаются от охулений и собственных неудач, получают только новые рвенья и силы, и уже далеко в душе своей уходят от тех произведений, за которые получили титло невежи. Высоким внутренним инстинктом почуял он присутствие мысли в каждом предмете; постигнул сам собой истинное значение слова «историческая живопись»; постигнул, почему простую головку, простой портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Корреджио можно назвать историческою живописью и почему

огромная картина исторического содержания все-таки будет tableau de genre,[4] несмотря на все притязанья художника на историческую живопись. И внутреннее чувство, и собственное убеждение обратили кисть его к христианским предметам, высшей и последней ступени высокого. У него не было честолюбия или раздражительности, так неотлучной от характера многих художников. Это был твердый характер, честный, прямой человек, даже грубый, покрытый снаружи несколько черствой корою, не без некоторой гордости в душе, отзывавшийся о людях вместе и снисходительно и резко. «Что на них глядеть, – обыкновенно говорил он, – ведь я не для них работаю. Не в гостиную понесу я мои картины, их поставят в церковь. Кто поймет меня – поблагодарит, не поймет – все-таки помолится Богу. Светского человека нечего винить, что он не смыслит живописи; зато он смыслит в картах, знает толк в хорошем вине, в лошадях, – зачем знать больше барину? Еще, пожалуй, как попробует того да другого да пойдет умничать, тогда и житья от него не будет! Всякому свое, всякий пусть занимается своим. По мне, уж лучше тот человек, который говорит прямо, что он не знает толку, нежели тот, который корчит лицемера, говорит, будто бы знает то, чего не знает, и только гадит да портит». Он работал за небольшую плату, то есть за плату, которая была нужна ему только для поддержанья семейства и для доставленья возможности трудиться. Кроме того, он ни в каком случае не отказывался помочь другому и протянуть руку помощи бедному художнику; веровал простой, благочестивой верою предков, и оттого, может быть, на изображенных им лицах являлось само собою то высокое выраженье, до которого не могли докопаться блестящие таланты. Наконец постоянством своего труда и неуклонностью начертанного себе пути он стал даже приобретать уважение со стороны тех, которые честили его невежей и доморощенным самоучкой. Ему давали беспрестанно заказы в церкви, и работа у него не переводилась. Одна из работ заняла его сильно. Не помню уже, в чем именно состоял сюжет ее, знаю только то – на картине нужно было поместить духа тьмы. Долго думал он над тем, какой дать ему образ; ему хотелось осуществить в лице его все тяжелое, гнетущее человека. При таких размышлениях иногда проносился в голове его образ таинственного ростовщика, и он думал невольно: «Вот бы с кого мне следовало написать дьявола». Судите же об его изумлении, когда один раз, работая в своей мастерской, услышал он стук в дверь, и вслед за тем прямо вошел к нему ужасный ростовщик. Он не мог не почувствовать какой-то внутренней дрожи, которая пробежала невольно по его телу.

– Ты художник? – сказал он без всяких церемоний моему отцу.

– Художник, – сказал отец в недоуменье, ожидая, что будет далее.

– Хорошо. Нарисуй с меня портрет. Я, может быть, скоро умру, детей у меня нет; но я не хочу умереть совершенно, я хочу жить. Можешь ли ты нарисовать такой портрет, чтобы был совершенно как живой?

Отец мой подумал: «Чего лучше? – он сам просится в дьяволы ко мне на картину». Дал слово. Они уговорились во времени и цене, и на другой же день, схвативши палитру и кисти, отец мой уже был у него. Высокий двор, собаки, железные двери и затворы, дугообразные окна, сундуки, покрытые старинными коврами, и, наконец, сам необыкновенный хозяин, севший неподвижно перед ним, – все это произвело на него странное впечатление. Окна, как нарочно, были заставлены и загромождены снизу так, что давали і нет только с одной верхушки. «Черт побери, как теперь хорошо осветилось его лицо!» – сказал он про себя и принялся жадно писать, как бы опасаясь, чтобы как-нибудь не исчезло счастливое освещенье. «Экая сила! – повторил он про себя. – Если я хотя вполовину изображу его так, как он есть теперь, он убьет всех моих святых и ангелов; они побледнеют пред ним. Какая дьявольская сила! он у меня просто выскочит из полотна, если только хоть немного буду верен натуре. Какие необыкновенные черты!» – повторял он беспрестанно, усугубляя рвенье, и уже видел сам, как стали переходить на полотно некоторые черты. Но чем более он приближался к ним, тем более чувствовал какое-то тягостное, тревожное чувство, непонятное себе самому. Однако же, несмотря на то, он положил себе преследовать с буквальною точностью всякую незаметную черту и выраженье. Прежде всего занялся он отделкою глаз. В этих глазах столько было силы, что, казалось, нельзя бы и помыслить передать их точно, как были в натуре. Однако же во что бы то ни стало он решился доискаться в них последней мелкой черты и оттенка, постигнуть их тайну… Но как только начал он входить и углубляться в них кистью, в душе его возродилось такое странное отвращенье, такая непонятная тягость, что он должен был на несколько времени бросить кисть и потом приниматься вновь. Наконец уже не мог он более выносить, он чувствовал, что эти глаза вонзались ему в душу и производили в ней тревогу непостижимую. На другой, на третий день это было еще сильнее. Ему сделалось страшно. Он бросил кисть и сказал наотрез, что не может более писать с него. Надобно было видеть, как изменился при этих словах странный ростовщик. Он бросился к нему в ноги и молил кончить портрет, говоря, что от сего

зависит судьба его и существование в мире, что уже он тронул своею кистью его живые черты, что если он передаст их верно, жизнь его сверхъестественною силою удержится в портрете, что он чрез то не умрет совершенно, что ему нужно присутствовать в мире. Отец мой почувствовал ужас от таких слов: они ему показались до того странны и страшны, что он бросил и кисти и палитру и бросился опрометью вон из комнаты.

Мысль о том тревожила его весь день и всю ночь, а поутру он получил от ростовщика портрет, который принесла ему какая-то женщина, единственное существо, бывшее у него в услугах, объявившая тут же, что хозяин не хочет портрета, не дает за него ничего и присылает назад. Ввечеру того же дни узнал он, что ростовщик умер и что собираются уже хоронить его по обрядам его религии. Все это казалось ему неизъяснимо странно. А между тем с этого времени оказалась в характере его ощутительная перемена: он чувствовал неспокойное, тревожное состояние, которому сам не мог понять причины, и скоро произвел он такой поступок, которого бы никто не мог от него ожидать. С некоторого времени труды одного из учеников его начали привлекать внимание небольшого круга знатоков и любителей. Отец мой всегда видел в нем талант и оказывал ему за то свое особенное расположение. Вдруг почувствовал он к нему зависть. Всеобщее участие и толки о нем сделались ему невыносимы. Наконец, к довершенью досады, узнает он, что ученику его предложили написать картину для вновь отстроенной богатой церкви. Это его взорвало. «Нет, не дам же молокососу восторжествовать! – говорил он. – Рано, брат, вздумал стариков сажать в грязь! Еще, слава Богу, есть у меня силы. Вот мы увидим, кто кого скорее посадит в грязь». И прямодушный, честный в душе человек употребил интриги и происки, которыми дотоле всегда гнушался; добился наконец того, что на картину объявлен был конкурс и другие художники могли войти также с своими работами. После чего заперся он в свою комнату и с жаром принялся за кисть. Казалось, все свои силы, всего себя хотел он сюда собрать. И точно, это вышло одно из лучших его произведений. Никто не сомневался, чтобы не за ним осталось первенство. Картины были представлены, и все прочие показались пред нею как ночь пред днем. Как вдруг один из присутствовавших членов, если не ошибаюсь, духовная особа, сделал замечание, поразившее всех. «В картине художника, точно, есть много таланта, – сказал он, – но нет святости в лицах; есть даже, напротив того, что-то демонское в глазах, как будто бы рукою художника водило нечистое чувство». Все взглянули и не могли не убедиться в истине сих слов. Отец мой бросился вперед

к своей картине, как бы с тем, чтобы поверить самому такое обидное замечание, и с ужасом увидел, что он всем почти фигурам придал глаза ростовщика. Они так глядели демонски-сокрушительно, что он сам невольно вздрогнул. Картина была отвергнута, и он должен был, к неописанной своей досаде, услышать, что первенство осталось за его учеником. Невозможно было описать того бешенства, с которым он возвратился домой. Он чуть не прибил мать мою, разогнал детей, переломал кисти и мольберт, схватил со стены портрет ростовщика, потребовал ножа и велел разложить огонь в камине, намереваясь изрезать его в куски и сжечь. На этом движенье застал его вошедший в комнату приятель, живописец, как и он, весельчак, всегда довольный собой, не заносившийся никакими отдаленными желаньями, работавший весело все, что попадалось, и еще веселей того принимавшийся за обед и пирушку.

– Что ты делаешь, что собираешься жечь? – сказал он и подошел к портрету. – Помилуй, это одно из самых лучших твоих произведений. Это ростовщик, который недавно умер; да это совершеннейшая вещь. Ты ему просто попал не в бровь, а в самые глаза залез. Так в жизнь никогда не глядели глаза, как они глядят у тебя.

– А вот я посмотрю, как они будут глядеть в огне, – сказал отец, сделавши движенье швырнуть его в камин.

– Остановись, ради Бога! – сказал приятель, удержав его, – отдай его уж лучше мне, если он тебе до такой степени колет глаз.

Отец сначала упорствовал, наконец согласился, и весельчак, чрезвычайно довольный своим приобретением, утащил портрет с собою.

По уходе его отец мой вдруг почувствовал себя спокойнее. Точно как будто бы вместе с портретом свалилась тяжесть с его души. Он сам изумился своему злобному чувству, своей зависти и явной перемене своего характера. Рассмотревши поступок свой, он опечалился душою и не без внутренней скорби произнес:

– Нет, это Бог наказал меня; картина моя поделом понесла посрамленье. Она была замышлена с тем, чтобы погубить брата. Демонское чувство зависти водило моею кистью, демонское чувство должно было и отразиться в ней.

Он немедленно отправился искать бывшего ученика своего, обнял его крепко, просил у него прощенья и старался сколько мог загладить пред ним вину свою. Работы его вновь потекли по-прежнему безмятежно; но задумчивость стала показываться чаще на его лице. Он больше молился, чаще бывал молчалив и не выражался так резко о людях; самая грубая наружность его

характера как-то умягчилась. Скоро одно обстоятельство еще более потрясло его. Он уже давно не видался с товарищем своим, выпросившим у него портрет. Уже собирался было идти его проведать, как вдруг он сам вошел неожиданно в его комнату. После нескольких слов и вопросов с обеих сторон он сказал:

– Ну, брат, недаром ты хотел сжечь портрет. Черт его побери, в нем есть что-то странное… Я ведьмам не верю, но, воля твоя: в нем сидит нечистая сила…

– Как? – сказал отец мой.

– А так, что с тех пор как повесил я к себе его в комнату, почувствовал тоску такую… точно как будто бы хотел кого-то зарезать. В жизнь мою я не знал, что такое бессонница, а теперь испытал не только бессонницу, но сны такие… я и сам не умею сказать, сны ли это или что другое: точно домовой тебя душит, и все мерещится проклятый старик. Одним словом, не могу рассказать тебе моего состояния. Подобного со мной никогда не бывало. Я бродил как шальной все эти дни: чувствовал какую-то боязнь, неприятное ожиданье чего-то. Чувствую, что не могу сказать никому веселого и искреннего слова; точно как будто возле меня сидит шпион какой-нибудь. И только с тех пор, как отдал портрет племяннику, который напросился на него, почувствовал, что с меня вдруг будто какой-то камень свалился с плеч: вдруг почувствовал себя веселым, как видишь. Ну, брат, состряпал ты черта!

Во время этого рассказа отец мой слушал его с неразвлекаемым вниманием и наконец спросил:

– И портрет теперь у твоего племянника?

– Куда у племянника! не выдержал, – сказал весельчак, – знать, душа самого ростовщика переселилась в него: он выскакивает из рам, расхаживает по комнате; и то, что рассказывает племянник, просто уму непонятно. Я бы принял его за сумасшедшего, если бы отчасти не испытал сам. Он его продал какому-то собирателю картин, да и тот не вынес его и тоже кому-то сбыл с рук.

Этот рассказ произвел сильное впечатление на моего отца. Он задумался не в шутку, впал в ипохондрию и наконец совершенно уверился в том, что кисть его послужила дьявольским орудием, что часть жизни ростовщика перешла в самом деле как-нибудь в портрет и тревожит теперь людей, внушая бесовские побуждения, совращая художника с пути, порождая страшные терзанья зависти, и проч., и проч. Три случившиеся вслед за тем несчастия, три внезапные смерти – жены, дочери и малолетнего сына – почел он небесною казнью себе и решился непременно оставить свет. Как только минуло мне девять лет, он поместил

меня в Академию художеств и, расплатясь с своими должниками, удалился в одну уединенную обитель, где скоро постригся в монахи. Там строгостью жизни, неусыпным соблюдением всех монастырских правил он изумил всю братью. Настоятель монастыря, узнавши об искусстве его кисти, требовал от него написать главный образ в церковь. Но смиренный брат сказал наотрез, что он недостоин взяться за кисть, что она осквернена, что трудом и великими жертвами он должен прежде очистить свою душу, чтобы удостоиться приступить к такому делу. Его не хотели принуждать. Он сам увеличивал для себя, сколько было возможно, строгость монастырской жизни. Наконец уже и она становилась ему недостаточною и не довольно строгою. Он удалился с благословенья настоятеля в пустынь, чтоб быть совершенно одному. Там из древесных ветвей выстроил он себе келью, питался одними сырыми кореньями, таскал на себе камни с места на место, стоял от восхода до заката солнечного на одном и том же месте с поднятыми к небу руками, читая беспрерывно молитвы. Словом, изыскивал, казалось, все возможные степени терпенья и того непостижимого самоотверженья, которому примеры можно разве найти в одних житиях святых. Таким образом долго, в продолжение нескольких лет, изнурял он свое тело, подкрепляя его в то же время живительною силою молитвы. Наконец в один день пришел он в обитель и сказал твердо настоятелю: «Теперь я готов. Если Богу угодно, я совершу свой труд». Предмет, взятый им, было Рождество Иисуса. Целый год сидел он за ним, не выходя из своей кельи, едва питая себя суровой пищей, молясь беспрестанно. По истечении года картина была готова. Это было, точно, чудо кисти. Надобно знать, что ни братья, ни настоятель не имели больших сведений в живописи, но все были поражены необыкновенной святостью фигур. Чувство божественного смиренья и кротости в лице Пречистой Матери, склонившейся над Младенцем, глубокий разум в очах Божественного Младенца, как будто уже что-то прозревающих вдали, торжественное молчанье пораженных божественным чудом царей, повергнувшихся к ногам Его, и, наконец, святая, невыразимая тишина, обнимающая всю картину, – все это предстало в такой согласной силе и могуществе красоты, что впечатление было магическое. Вся братья поверглась на колена пред новым образом, и умиленный настоятель произнес: «Нет, нельзя человеку с помощью одного человеческого искусства произвести такую картину: святая, высшая сила водила твоею кистью, и благословенье небес почило на труде твоем».

В это время окончил я свое ученье в Академии, получил золотую медаль и вместе с нею радостную надежду на

путешествие в Италию – лучшую мечту двадцатилетнего художника. Мне оставалось только проститься с моим отцом, с которым уже двенадцать лет я расстался. Признаюсь, даже самый образ его давно исчезнул из моей памяти. Я уже несколько наслышался о суровой святости его жизни и заранее воображал встретить черствую наружность отшельника, чуждого всему в мире, кроме своей кельи и молитвы, изнуренного, высохшего от вечного поста и бденья. Но как же я изумился, когда предстал предо мною прекрасный, почти божественный старец! И следов изможденья не было заметно на его лице: оно сияло светлостью небесного веселия. Белая, как снег, борода и тонкие, почти воздушные волосы такого же серебристого цвета рассыпались картинно по груди и по складкам его черной рясы и падали до самого вервия, которым опоясывалась его убогая монашеская одежда; но более всего изумительно было для меня услышать из уст его такие слова и мысли об искусстве, которое, признаюсь, я долго буду хранить в душе и желал бы искренно, чтобы всякий мой собрат сделал то же.

– Я ждал тебя, сын мой, – сказал он, когда я подошел к его благословенью. – Тебе предстоит путь, по которому отныне потечет жизнь твоя. Путь твой чист, не совратись с него. У тебя есть талант; талант есть драгоценнейший дар Бога – не погуби его. Исследуй, изучай все, что ни видишь, покори всё кисти, но во всем умей находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну созданья. Блажен избранник, владеющий ею. Нет ему низкого предмета в природе. В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом; в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души. Намек о божественном, небесном рае заключен для человека в искусстве, и по тому одному оно уже выше всего. И во сколько раз торжественный покой выше всякого волненья мирского; во сколько раз творенье выше разрушенья; во сколько раз ангел одной только чистой невинностью светлой души своей выше всех несметных сил и гордых страстей сатаны, – во столько раз выше всего, что ни есть на свете, высокое созданье искусства. Все принеси ему в жертву и возлюби его всею страстью. Не страстью, дышащей земным вожделением, но тихой небесной страстью; без нее не властен человек возвыситься от земли и не может дать чудных звуков успокоения. Ибо для успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое созданье искусства. Оно не может поселить ропота в душе, но звучащей молитвой стремится вечно к Богу. Но есть минуты, темные минуты…

Он остановился, и я заметил, что вдруг омрачился светлый лик его, как будто бы на него набежало какое-то мгновенное облако.

– Есть одно происшествие в моей жизни, – сказал он. – Доныне я не могу понять, что был тот странный образ, с которого я написал изображение. Это было точно какое-то дьявольское явление. Я знаю, свет отвергает существованье дьявола, и потому не буду говорить о нем. Но скажу только, что я с отвращением писал его, я не чувствовал в то время никакой любви к своей работе. Насильно хотел покорить себя и бездушно, заглушив все, быть верным природе. Это не было созданье искусства, и потому чувства, которые объемлют всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства, тревожные чувства, – не чувства художника, ибо художник и в тревоге дышит покоем. Мне говорили, что портрет этот ходит по рукам и рассевает томительные впечатленья, зарождая в художнике чувство зависти, мрачной ненависти к брату, злобную жажду производить гоненья и угнетенья. Да хранит тебя Всевышний от сих страстей! Нет их страшнее. Лучше вынести всю горечь возможных гонений, нежели нанести кому-либо одну тень гоненья. Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится. Человеку, который вышел из дому в светлой праздничной одежде, стоит только быть обрызнуту одним пятном грязи из-под колеса, и уже весь народ обступил его, и указывает на него пальцем, и толкуют об его неряшестве, тогда как тот же народ не замечает множества пятен на других проходящих, одетых в будничные одежды. Ибо на будничных одеждах не замечаются пятна.

Он благословил меня и обнял. Никогда в жизни не был я так возвышенно подвигнут. Благоговейно, более нежели с чувством сына, прильнул я к груди его и поцеловал в рассыпавшиеся его серебряные волосы. Слеза блеснула в его глазах.

– Исполни, сын мой, одну мою просьбу, – сказал он мне уже при самом расставанье. – Может быть, тебе случится увидеть где-нибудь тот портрет, о котором я говорил тебе. Ты его узнаешь вдруг по необыкновенным глазам и неестественному их выражению, – во что бы то ни было истреби его…

Вы можете судить сами, мог ли я не обещать клятвенно исполнить такую просьбу. В продолжение целых пятнадцати лет не случалось мне встретить ничего такого, что бы хотя сколько-нибудь походило на описание, сделанное моим отцом, как вдруг теперь, на аукционе…

Здесь художник, не договорив еще своей речи, обратил глаза на стену, с тем чтобы взглянуть еще раз на портрет. То же самое

движение сделала в один миг вся толпа слушавших, ища глазами необыкновенного портрета. Но, к величайшему изумлению, его уже не было на стене. Невнятный говор и шум пробежал по всей толпе, и вслед за тем послышались явственно слова: «Украден». Кто-то успел уже стащить его, воспользовавшись вниманьем слушателей, увлеченных рассказом. И долго все присутствовавшие оставались в недоумении, не зная, действительно ли они видели эти необыкновенные глаза или это была просто мечта, представшая только на миг глазам их, утружденным долгим рассматриванием старинных картин.

Тарас Бульба

I

– А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что это на вас за поповские подрясники? И этак все ходят в академии? – Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе и приехавших домой к отцу.

Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие исподлобья, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю.

– Стойте, стойте! дайте мне разглядеть вас хорошенько, – продолжал он, поворачивая их, – какие же длинные на вас свитки! экие свитки! таких свиток еще и на свете не было. А побеги который-нибудь из вас! я посмотрю, не шлепнется ли он на землю, запутавшись в полы.

– Не смейся, не смейся, батько! – сказал наконец старший из них.

– Смотри ты, какой пышный! а отчего ж бы не смеяться?

– Да так; хоть ты мне и батька, а как будешь смеяться, то, ей-Богу, поколочу!

– Ах ты, сякой-такой сын! как, батьку? – сказал Тарас Бульба, отступивши с удивлением несколько шагов назад.

– Да хоть и батьку. За обиду не посмотрю и не уважу никого.

– Как же хочешь ты со мною биться, разве на кулаки?

– Да уж на чем бы то ни было.

– Ну, давай на кулаки! – говорил Тарас Бульба, засучив рукава, – посмотрю я, что за человек ты в кулаке!

И отец с сыном, вместо приветствия после давней отлучки, начали насаживать друг другу тумаки и в бока, и в поясницу, и в грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая.

– Смотрите, добрые люди: одурел старый! совсем спятил с ума! – говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих. – Дети приехали домой, больше года их не видали, а он задумал невесть что: на кулаки биться!

– Да он славно бьется! – говорил Бульба, остановившись, – ей-Богу, хорошо! – продолжал он, немного оправляясь, – так, хоть бы даже и не пробовать. Добрый будет казак! Ну, здорово, сынку!

почеломкаемся! – И отец с сыном стали целоваться. – Добре, сынку! Вот так колоти всякого, как меня тузил: никому не спускай! а все-таки на тебе смешное убранство: что это за веревка висит? А ты, бейбас, что стоишь и руки опустил? – говорил он, обращаясь к младшему, – что ж ты, собачий сын, не поколотишь меня?

– Вот еще что выдумал! – говорила мать, обнимавшая между тем младшего, – и придет же в голову этакое, чтобы дитя родное било отца. Да будто и до того теперь: дитя молодое, проехало столько пути, утомилось… (это дитя было двадцати с лишком лет и ровно в сажень ростом), ему бы теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет его биться!

– Э, да ты мазунчик, как я вижу! – говорил Бульба. – Не слушай, сынку, матери: она баба, она ничего не знает. Какая вам нежба? Ваша нежба – чистое поле да добрый конь: вот ваша нежба! А видите вот эту саблю – вот ваша матерь! Это все дрянь, чем набивают головы ваши: и академии, и все те книжки, буквари, и философия, и все это *ка зна що,* – я плевать на все это! – Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати. – А вот, лучше, я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот где наука! Там вам школа; там только наберетесь разуму.

– И всего только одну неделю быть им дома? – говорила жалостно, со слезами на глазах, худощавая старуха мать. – И погулять им, бедным, не удастся, не удастся и дому родного узнать, и мне не удастся наглядеться на них!

– Полно, полно выть, старуха! Казак не на то, чтобы возиться с бабами. Ты бы спрятала их обоих себе под юбку, да и сидела бы на них, как на куриных яйцах. Ступай, ступай, да ставь нам скорее на стол все, что есть. Не нужно пампушек, медовиков, маковников и других пундиков; тащи нам всего барана, козу давай, меды сорокалетние! да горелки побольше, не с выдумками горелки, не с изюмом и всякими вытребеньками, а чистой пенной горелки, чтоб играла и шипела, как бешеная.

Бульба повел сыновей своих в светлицу, откуда проворно выбежали две красивые девки-прислужницы в червонных монистах, прибиравшие комнаты. Они, как видно, испугались приезда паничей, не любивших спускать никому, или же просто хотели соблюсти свой женский обычай: вскрикнуть и броситься опрометью, увидевши мужчину, и потом долго закрываться от сильного стыда рукавом. Светлица была убрана во вкусе того времени, – о котором живые намеки остались только в песнях да в народных думах, уже не поющихся больше на Украине бородатыми старцами-слепцами в сопровождении тихого

треньканья бандуры, в виду обступившего народа, – во вкусе того бранного, трудного времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украине за унию. Все было чисто, вымазано цветной глиною. На стенах – сабли, нагайки, сетки для птиц, невода и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка на коня и путы с серебряными бляхами. Окна в светлице были маленькие, с круглыми тусклыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах, сквозь которые иначе нельзя было глядеть, как приподняв надвижное стекло. Вокруг окон и дверей были красные отводы. На полках по углам стояли кувшины, бутыли и фляжки зеленого и синего стекла, резные серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы: венецейской, турецкой, черкесской, зашедшие в светлицу Бульбы всякими путями через третьи и четвертые руки, что было весьма обыкновенно в те удалые времена. Берестовые скамьи вокруг всей комнаты; огромный стол под образами в переднем углу; широкая печь с запечьями, уступами и выступами, покрытая цветными пестрыми изразцами. Все это было очень знакомо нашим двум молодцам, приходившим каждый год домой на каникулярное время, приходившим потому, что у них не было еще коней, и потому, что не в обычае было позволять школярам ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий казак, носивший оружие. Бульба только при выпуске их послал им из табуна своего пару молодых жеребцов.

Бульба по случаю приезда сыновей велел созвать всех сотников и весь полковой чин, кто только был налицо; и когда пришли двое из них и есаул Дмитро Товкач, старый его товарищ, он им тот же час представил сыновей, говоря: «Вот, смотрите, какие молодцы! на Сечь их скоро пошлю». Гости поздравили и Бульбу и обоих юношей и сказали им, что доброе дело делают и что нет лучшей науки для молодого человека, как Запорожская Сечь.

– Ну ж, паны-браты, садись всякий, где кому лучше, за стол. Ну, сынки! прежде всего выпьем горелки! – так говорил Бульба. – Боже, благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остап, и ты, Андрий! Дай же Боже, чтоб вы на войне всегда были удачливы! чтоб бусурманов били, и турков бы били, и татаров били бы, когда и ляхи начнут что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били. Ну, подставляй свою чарку; что, хороша горелка? А как по-латини горелка? То-то, сынку, дурни были латинцы: они и не знали, есть ли на свете горелка. Как, бишь, того звали, что латинские вирши писал? Я грамоте разумею не сильно, а потому и не знаю: Гораций, что ли?

«Вишь, какой батька! – подумал про себя старший сын,

Остап. – Все, старая собака, знает, а еще и прикидывается».

– Я думаю, архимандрит не давал вам и понюхать горелки, – продолжал Тарас. – А признайтесь, сынки, крепко стегали вас березовыми и свежим вишняком по спине и по всему, что ни есть у казака? А может, так как вы сделались уже слишком разумные, так, может, и плетюганами пороли; чай, не только по субботам, а доставалось и в среду и в четверг?

– Нечего, батько, вспоминать, что было, – отвечал Остап, – что было, то прошло!

– Пусть теперь попробует! – сказал Андрий, – пускай теперь кто-нибудь только зацепит; вот пусть только подвернется теперь какая-нибудь татарва, будет знать она, что за вещь казацкая сабля!

– Добре, сынку! ей-Богу, добре! Да когда на то пошло, то и я с вами еду! ей-Богу, еду. Какого дьявола мне здесь ждать? чтоб я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами да за свиньями да бабиться с женой? Да пропади они: я казак, не хочу! Так что же, что нет войны? я так поеду с вами на Запорожье, погулять; ей-Богу, поеду! – И старый Бульба мало-помалу горячился, горячился, наконец, рассердился совсем, встал из-за стола, и, приосанившись, топнул ногою. – Завтра же едем! зачем откладывать? какого врага мы можем здесь высидеть? на что нам эта хата? к чему нам все это? на что эти горшки? – Сказавши это, он начал колотить и швырять горшки и фляжки.

Бедная старушка, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего говорить; но, услыша о таком страшном для нее решении, она не могла удержаться от слез; взглянула на детей своих, с которыми угрожала ей такая скорая разлука, – и никто бы не мог описать всей безмолвной силы ее горести, которая, казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах.

Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый XV век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников; когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек; когда на пожарищах, в виду грозных соседей и вечной опасности, селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете; когда бранным пламенем объялся древле-мирный славянский дух и завелось казачество – широкая, разгульная замашка русской природы, и когда все поречья, перевозы, прибрежные пологие и удобные места усеялись казаками, которым и счету никто не ведал, и

смелые товарищи их были вправе отвечать султану, пожелавшему знать о числе их: «Кто их знает! у нас их раскидано по всему степу: что байрак, то казак» (где маленький пригорок, там уж и казак). Это было, точно, необыкновенное явленье русской силы: его вышибло из народной груди огниво бед. Вместо прежних уделов, мелких городков, наполненных псарями и ловчими, вместо враждующих и торгующих городами мелких князей возникли грозные селения, курени и околицы, связанные общей опасностью и ненавистью против нехристианских хищников. Уже известно всем из истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь спасли Европу от неукротимых набегов, грозивших ее опрокинуть. Короли польские, очутившиеся, наместо удельных князей, властителями этих пространных земель, хотя отдаленными и слабыми, поняли значение казаков и выгоды такой бранной сторожевой жизни. Они поощряли их и льстили этому расположению. Под их отдаленною властью гетманы, избранные из среды самих же казаков, преобразовали околицы и курени в полки и правильные округи. Это не было строевое собранное войско, его бы никто не увидал; но в случае войны и общего движенья, в восемь дней, не больше, всякий являлся на коне во всем своем вооружении, получа один только червонец платы от короля, и в две недели набиралось такое войско, какого бы не в силах были набрать никакие рекрутские наборы. Кончился поход – воин уходил в луга и пашни, на днепровские перевозы, ловил рыбу, торговал, варил пиво и был вольный казак. Современные иноземцы справедливо дивились тогда необыкновенным способностям его. Не было ремесла, которого бы не знал казак: накурить вина, снарядить телегу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и, в прибавку к тому, – гулять напропалую, пить и бражничать, как только может один русский, – все это было ему по плечу. Кроме рейстровых казаков, считавших обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время, в случае большой потребности, набрать целые толпы охочекомонных: стоило только есаулам пройти по рынкам и площадям всех сел и местечек и прокричать во весь голос, ставши на телегу: «Эй вы, пивники, броварники, полно вам пиво варить, да валяться по запечьям, да кормить своим жирным телом мух! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плугари, гречкосеи, овцеводы, баболюбы, полно вам за плугом ходить да пачкать в земле свои желтые чоботы, да подбираться к жинкам и губить силу рыцарскую! пора доставать казацкой славы!» И слова эти были как искры, падающие на сухое дерево. Пахарь ломал свой плуг, бровары и пивовары кидали свои кадки и разбивали бочки, ремесленник и торгаш посылал к черту

и ремесло и лавку, бил горшки в доме – и все, что ни было, садилось на коня. Словом, русский характер получил здесь могучий, широкий размах, крепкую наружность.

Тарас был один из числа коренных, старых полковников: весь был он создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава. Тогда влияние Польши начинало уже оказываться на русском дворянстве. Многие перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Он любил простую жизнь казаков и перессорился с теми из своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне, называя их холопьями польских панов. Вечно неугомонный, он считал себя законным защитником православия. Самоуправно входил в села, где только жаловались на притеснения арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма. Сам с своими казаками производил над ними расправу и положил себе правилом, что в трех случаях всегда следует взяться за саблю, именно: когда комиссары не уважали в чем старшин и стояли перед ними в шапках, когда глумились над Православием и не чтили обычая предков и, наконец, когда враги были бусурманы и турки, против которых он считал во всяком случае позволительным поднять оружие во славу христианства. Теперь он тешил себя заранее мыслию, как он явится с двумя сыновьями своими в Сечь и скажет: «Вот посмотрите, каких я молодцов привел к вам!»; как представит их всем старым закаленным в битвах товарищам; как поглядит на первые подвиги их в ратной науке и бражничестве, которое почиталось тоже одним из главных достоинств рыцаря. Он сначала хотел было отправить их одних; но при виде их свежести, рослости, могучей телесной красоты вспыхнул воинский дух его, и он на другой же день решился ехать с ними сам, хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. Он уже хлопотал и отдавал приказы, выбирал коней и сбрую для молодых сыновей, наведывался и в конюшни и в амбары, отобрал слуг, которые должны были завтра с ними ехать. Есаулу Товкачу передал свою власть вместе с крепким наказом явиться сей же час со всем полком, если только он подаст из Сечи какую-нибудь весть. Хотя он был и навеселе и в голове его еще бродил хмель, однако ж не забыл ничего; даже отдал приказ напоить коней и всыпать им в ясли крупной и лучшей пшеницы, и пришел усталый от своих забот.

– Ну, дети, теперь надобно спать, а завтра будем делать то, что Бог даст. Да не стели нам постель! нам не нужна постель: мы будем спать на дворе.

Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился

рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что ночной воздух был довольно свеж и потому что Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор; все, что ни лежало в разных его углах, захрапело и запело; прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда паничей.

Одна бедная мать не спала; она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом; она расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклокоченные кудри и смачивала их слезами; она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственною грудью; она возрастила, взлелеяла их – и только на один миг видит их перед собою! «Сыны мои, сыны мои милые! что будет с вами? что ждет вас?» – говорила она, и слезы остановились в морщинах, изменивших прекрасное когда-то лицо ее. В самом деле, она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она миг только жила любовью, только в первую горячку страсти, в первую горячку юности, и уже суровый прельститель ее покидал ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видела мужа в год два-три дня, и потом несколько лет о нем не бывало слуху. Да и когда виделась с ним, когда они жили вместе, что за жизнь ее была? Она терпела оскорбления, даже побои; она видела ласки, оказываемые только из милости; она была какое-то странное существо в этом сборище безженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой. Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные свежие щеки и перси без лобзаний отцвели и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине, все обратилось у нее в одно материнское чувство. Она с жаром, с страстью, со слезами, как степная чайка, вилась над детьми своими. Ее сыновей, ее милых сыновей берут от нее; берут для того, чтобы не увидеть их никогда! Кто знает, может быть при первой битве татарин срубит им головы и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет хищная подорожная птица, а за каждую каплю крови их она отдала бы себя всю. Рыдая, глядела она им в очи, когда всемогущий сон начинал уже смыкать их, и думала: «Авось-либо Бульба, проснувшись, отсрочит денька на два отъезд; может быть, он задумал оттого так скоро ехать, что много выпил».

Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор. Она все сидела в головах сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз и не

думала о сне. Уже кони, чуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть; верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до света, вовсе не утомилась и внутренне желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржание жеребенка; красные полосы ясно сверкнули на небе.

Бульба вдруг проснулся и вскочил; он очень хорошо помнил все, что приказывал вчера.

– Ну, хлопцы, полно спать! пора, пора! Напойте коней! А где стара? (так он обыкновенно называл жену свою). Живее, стара, готовь нам есть: путь лежит великий!

Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем как она со слезами готовила все, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие убранства. Бурсаки вдруг преобразились; на них явились, вместо прежних запачканных сапогов, сафьянные красные с серебряными подковами; шаровары шириною в Черное море, с тысячью складок и со сборами, перетянулись золотым очкуром; к очкуру прицеплены были длинные ремешки, с кистями и прочими побрякушками для трубки. Казакин алого цвета, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым поясом; чеканные турецкие пистолеты были засунуты за пояс; сабля брякала по ногам. Их лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели; молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый, мощный цвет юности; они были хороши под черными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать как увидела их, и слова не могла промолвить, и слезы остановились в глазах ее.

– Ну, сыны, все готово! нечего мешкать! – произнес, наконец, Бульба. – Теперь, по обычаю христианскому, нужно перед дорогою всем присесть.

Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших почтительно у дверей.

– Теперь благослови, мать, детей своих! – сказал Бульба, – моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую[5], чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете! Подойдите, дети, к матери: молитва материнская и на воде и на земле спасает! Мать, слабая как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею.

– Пусть хранит вас… Божья Матерь… не забывайте, сынки, мать вашу… пришлите хоть весточку о себе… – далее она не

могла говорить.

– Ну, пойдем, дети! – сказал Бульба.

У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего Черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжел и толст.

Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к меньшому, у которого в чертах лица выражалось более какой-то нежности; она схватила его за стремя, она прилипла к седлу его и с отчаяньем в глазах не выпускала его из рук своих. Два дюжих казака взяли ее бережно и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, со всею легкостию дикой козы, несообразно летам, выбежала она за ворота, с непостижимою силою остановила лошадь и обняла одного из сыновей с какою-то помешанною, бесчувственною горячностию; ее опять увели.

Молодые казаки ехали смутно и удерживали слезы, боясь отца, который, с своей стороны, был тоже несколько смущен, хотя старался этого не показывать. День был серый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали как-то вразлад. Они, проехавши, оглянулись назад: хутор их как будто ушел в землю; только видны были над землей две трубы скромного их домика, да вершины дерев, по сучьям которых они лазили, как белки; еще стлался перед ними тот луг, по которому они могли припомнить всю историю своей жизни, от лет, когда валялись по росистой траве его, до лет, когда поджидали на нем чернобровую казачку, боязливо перелетавшую через него с помощию своих свежих, быстрых ног. Вот уже один только шест над колодцем с привязанным вверху колесом от телеги одиноко торчит в небе; уже равнина, которую они проехали, кажется издали горою и все собою закрыла… Прощайте и детство, и игры, и все, и все!

notes

Сноски

1

Это очаровательно! Лиза, Лиза, подойди сюда! *(франц.)*

2

Какое красивое лицо! *(франц.)*.

3

Какая восхитительная мысль! *(франц.)*.

4

Жанровая картина *(франц.)*.

5

Рыцарскую.